

П. Д.
БОБОРЫКИН



Избранное



Петр Боборыкин

За полвека. Воспоминания

«Public Domain»

1921

Боборыкин П. Д.

За полвека. Воспоминания / П. Д. Боборыкин — «Public Domain», 1921

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921), создатель русского слова «интеллигент», автор популярнейших романов: «Дельцы», «Китай-город», «Василий Теркин» и многих других, был «европеец не только по манерам, привычкам, образованности и близкому знакомству с заграничной жизнью, но европеец в лучшем смысле слова, служивший всю жизнь высшим идеалам общечеловеческой культуры, без национальной, племенной и религиозной исключительности. Вдумчивая отзывчивость на злобу дня... требует большой наблюдательности. И этим качеством Боборыкин обладал в высшей степени. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки... русских людей у себя и за границей изображены им с занимательной точностью и подробностями». Академик А.Ф.Кони

Содержание

Вступление	5
ГЛАВА ПЕРВАЯ	8
ГЛАВА ВТОРАЯ	35
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Петр Дмитриевич Боборыкин

За полвека

Воспоминания

*Жизнь успокаивает, как смерть,
примиряет с теми, кто мыслит или
чувствует иначе, чем мы.*

М.Гюйо

*(«Иррелигиозность будущего».)
Кто знает: сколько каждый живу-
щий на земле оставляет семян, кото-
рым суждено взойти только после его
смерти.*

Ив. Тургенев («Фауст», 7-е письмо).

Вступление

Итоги писателя – Опасность всяких мемуаров – Два примера: Руссо и Шатобриан – Главные две темы этих воспоминаний: 1) жизнь и творчество русских писателей, 2) судьбы нашей интеллигенции – Тенденциозность и свобода оценок – Другая половина моих итогов: книга «Столицы мира»

Пришел час оглянуться на всю или почти всю прожитую жизнь.

Полвека, и даже с придатком, – срок достаточный. Он охватывает полосу уже вполне сознательной жизни, с того возраста, когда отрок готовится быть юношей.

Для меня – в годы моего первоначального ученья – это совпадало с переходом в пятый класс гимназии, то есть к 1851 году. Через два года я был студент.

Я высиел уже тогда четыре года на гимназической «парте», я прочел к тому времени немало книг, заглядывал даже в «Космос» Гумбольдта, знал в подлиннике драмы Шиллера; наши поэты и прозаики, иностранные романисты и рассказчики привлекали меня давно. Я был накануне первого своего литературного опыта, представленного по классу русской словесности.

Писатель уже был в зародыше.

Записки мои и будут *итогами писателя* по преимуществу.

Под этим заглавием «Итоги писателя» я набросал уже в начале 90-х годов, в Ницце, и дополнил в прошлом году, как бы род моей авторской, исповеди. Я не назначал ее для печати; но двум-трем моим собратам, писавшим обо мне, давал читать.

Эта чисто личная *писательская* исповедь появится в печати после меня.

Мемуары – предательское дело для самих авторов, да и для публики.

Для авторов – потому, что слишком велик соблазн говорить обо всем, что для читателей вовсе не интересно, перетряхать сотни житейских случаев, анекдотов, встреч, знакомств и впадать в смертный грех старчества.

Для публики – потому, что она так часто не находит того, чего законно ищет, и принуждена поглощать десятки и сотни страниц безвкусных воспоминаний, прежде чем выудить что-нибудь действительно ценное.

Мне кажется, так выходит всего чаще оттого, что составители записок не выбирают себе главной темы, то есть того *ядра*, вокруг которого должен кристаллизироваться их рассказ.

Без такого «ядра» всякие воспоминания будут непременно рисковать перейти в беспорядочную болтовню.

Мемуары и сами-то по себе – слишком личная вещь. Когда их автор не боится говорить о себе беспощадную, даже циническую правду, да вдобавок он очень даровит – может получиться такой «человеческий документ», как «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо. Но и в них сколько неизлечимой возни с своим «я», сколько усилий обелить себя, обвиняя других.

И такой талант, как Шатобриан в своих «*Memoires d'outre tombe*» грешил, и как! той же постоянной возней с своим «я», придавая особенное значение множеству эпизодов своей жизни, в которых нет для читателей объективного интереса, после того как они уже достаточно ознакомились с личностью, складом ума, всей психикой автора этих «Замогильных записок».

На всемирную известность Руссо и Шатобриана никто из нас не будет претендовать. Я это говорю затем только, чтобы подтвердить верность того, что я сейчас написал о необходимости «ядра».

В этих воспоминаниях ядром будет по преимуществу *писательский мир* и все, что с ним соприкасается, и вообще *жизнь русской интеллигенции*, насколько я к ней приглядывался и сам разделял ее судьбы.

Это спасет меня, я надеюсь, от Излишних «оборотов на себя», как пишется на векселях. Гораздо больше речь пойдет о тех, с кем я встречался, чем о себе самом.

И всю-то русскую жизнь, через какую я проходил в течение полувека, я главным образом беру как материал, который просился бы на творческое воспроизведение. Она составит тот *фон*, на котором выступит все то, что наша литература, ее деятели, ее верные слуги и поборники черпали из нее.

Вопрос о том, насколько была тесна связь жизни с писательским делом, – для меня первенствующий. Была ли эта жизнь захвачена *своевременно* нашей беллетристикой и театром? В чем сказывались, на мой взгляд, те «опоздания», какие выходили между жизнью и писательским делом? И в чем можно видеть истинные заслуги русской интеллигенции, вместе с ее часто трагической судьбой и слабостями, недочетами, малодушием, изменами своему призванию?

Хуже всего – узкая *тенденциозность*, однотонный колорит мнений, чувств, оценок. Быть честным – не значит еще ходить вечно *в шорах*, рабски служа известному лозунгу без той смелости, которую я всегда считал высшей добродетелью писателя.

И какая, спрошу я, будет сладость для публики находить в воспоминаниях старого писателя все один и тот же «камертон», одно и то же окрашивание нравов, событий, людей и их произведений?

Этим, думается мне, грешат почти все воспоминания, за исключением уже самых безобидных, сшитых из пестрых лоскутков, без плана, без ценного содержания. То, что я предлагаю читателю здесь, почти исключительно *русские* воспоминания. Своих *заграничных* испытаний, впечатлений, встреч, отношений к тамошней интеллигенции, за целых тридцать с лишком лет, я в подробностях касаться не буду.

Тот отдел моей писательской жизни уже записан мною несколько лет назад, в зиму 1896–1897 года, в целой книге «Столицы мира», где я подводил итоги всему, что пережил, видел, слышал и зазнал в Париже и Лондоне с половины 60-х годов.

Там я сравнительно гораздо больше занимаюсь и характеристикой разных сторон французской и английской жизни, чем даже нашей в *этих русских воспоминаниях*. И самый план той книги – иной. Он имеет еще более объективный характер. Встречи мои и знакомства с выдающимися иностранцами (из которых все известности, а многие и всесветные знаменитости) я отметил почти целиком, и галерея получилась обширная – до полутора ста лиц.

Эта книга была тогда же приобретена покойным издателем «Нивы», но по разным причинам до сих пор не напечатана.

Если читателю моих *русских воспоминаний* было бы интересно сопоставить оба отдела моей жизни, я, к сожалению, не могу еще удовлетворить его желание, но не по своей вине.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Нижегородская гимназия – Первые задатки – Страсть к чтению – Гувернеры – Дворяне – Николаевская эпоха – Круг чтения – Театр – Чем жило общество – Литераторы Мельников-Печорский и Авдеев – Мои дяди – Поездка в Москву – Париж на Тверской – Островский в Малом театре – Щепкин – Другие знаменитости – Садовский – Шуйский – Театральная масленица – Дружба с сестрой – Обязан женищинам многим – Босяков тогда не было – Василий Теркин – Итоги воспитывающей среды

Не помню, чтобы я при переходе из отрочества в юношеский возраст определенно мечтал уже быть писателем или «сочинителем», как тогда говорили все: и большие, и мы, маленькие. И Пушкин употреблял это слово, и в прямом смысле, а не в одном том ироническом значении, какое придают ему теперь.

Но свою умственную дорогу нас заставили самих решить еще годом раньше, при переходе в четвертый класс гимназии, то есть по четырнадцатому году.

Было это при министре просвещения Ширинском-Шихматове.

Когда мы к 1 сентября собрались после молебна, перед тем как расходиться по классам, нам, *четвероклассникам*, объявил инспектор, чтобы мы, поговорив дома с кем нужно, решили, как мы желаем учиться дальше: хотим ли продолжать учиться латинскому языку (нас ему учили с первого класса) для поступления в университет, или новому предмету, «законоведению», или же ни тому, ни другому. «Законоведы» будут получать чин четырнадцатого класса; университетские – право поступить без экзамена, при высших баллах; а остальные – те останутся без латыни и знания русских законов и ничего не получают; зато будут гораздо меньше учиться.

Этого мало. От нас потребовали, даже от тех, кто пожелает продолжать латынь – обозначить еще, какой факультет мы выбираем.

Теперь это показалось бы невероятным; а так оно *было*, и было в самый разгар «николаевского» режима, до Крымской войны, когда на нее еще не было и намека.

И по всей гимназии наделал шуму ответ гимназиста 5-го класса С-на, который написал: «на первое отделение философского факультета», что по-тогдашнему значило: в историко-филологический факультет. Второе отделение было физико-математическое.

Я нарочно начинаю с гимназии.

Место учения, где вы просидели семь лет, дает если не всему, то многому основной тон.

В моем родном городе Нижнем (где я родился и жил безвыездно почти до окончания курса) и тогда уже было два средних заведения: гимназия (полуклассическая, как везде) и дворянский институт, по курсу такая же гимназия, но с прибавкой некоторых предметов, которых у нас не читали. Институт превратился позднее в полуоткрытое заведение, но тогда он был еще интернатом и в него принимали исключительно детей потомственных и личных дворян.

И форму «институты» носили не общую (красный воротник с серебряными пуговицами, по казанскому округу), а свою – с золотыми пуговицами. Сюртуков у них не было, а только мундиры с фалдочками (как у гимназистов) и куртки.

Выбор гимназии состоялся не сразу. Меня хотели было отдавать в кадеты. Была речь и об училище правоведения. В институт не отдали, вероятно для того, чтобы держать меня дома, а также и оттого, что гимназия дешевле.

Поверят ли мне, что во все семь лет учения годовая плата была пять рублей?! Ее вносили в полугодия, да и то бывали недоимщики. Вся гимназическая выучка – с правом поступить без экзамена в университет своего округа – обходилась *в 35 рублей!*

Нельзя придумать более доступного, демократического заведения! Оно было им и по составу учеников, как везде. За исключением крепостных, принимали из всех податных сословий. Но дворяне и крупные чиновники не пренебрегали гимназией для детей своих, и в нашем классе очутилось больше трети барских детей, некоторые из самых первых домов в городе. А рядом – дети купцов, мелких приказных – мещан и вольноотпущенных. Один из наших одноклассников оказался сыном бывшего дворового отца своего товарища. И они были, разумеется, на «ты»...

Наша гимназия была вроде той, какая описана у меня в первых двух книгах «В путь-дорогу». Но когда я писал этот роман, я еще близко стоял ко времени моей юности. Краски наложены, быть может, гуще, чем бы я это сделал теперь. В общем верно, но полной объективности еще нет.

Если все сообразить и одно к другому прикинуть, то выйдет, что все было еще гораздо *лучше*, чем могло бы быть, и при этом не забывать, *какое* тогда стояло время.

Начать с того, что мы, мальчуганами по десятому году, уже готовили себя к долголетнему учению и *добровольно*. Если б я упрашивал мать; «Готовьте меня в гусары», очень возможно, что меня отдали бы в кадеты. Но меня еще за год до поступления в первый класс учил латыни бывший приемыш-воспитанник моей тетки, кончивший курс в нашей же гимназии.

И я без всякого отвращения склонял «mensa» (стол) и спрягал «ато» (люблю), повторяя вслух «amaturus, amatura, amaturum, sim, sis, sit», и когда поступил, то знал уже наизусть Эзоповскую басню о двух раках: «Cancrum retrogradum monebat pater...» (Рак поучает сына, при- выкшего пятиться задом.)

Некоторых из нас рано стали учить и новым языкам; но не это привлекало, не о светских успехах мечтали мы, а о том, что будем сначала гимназисты, а потом *студенты*. Да! Мечтали, и это великое дело! Студент рисовался нам как высшая ступень для того, кто учится. Он и учится и «большой». У него шпага и треугольная шляпа. Вот почему целая треть нашего класса решили *сами*, по четырнадцатому году, продолжать учиться латыни, без всякого давления от начальства и от родных.

Это факт характерный.

«Николаевщина» царила в русском государстве и обществе, а вот у нас, мальчуганов, не было никакого пристрастия к военщине. Из всех нас (а в классе было до тридцати человек) только двое собирались в юнкера: процент – ничтожный, если взять в соображение, какое это было время.

Но дело в том, что *обиций* гнет совсем не чувствовался нами так, как принято признавать до сих пор в русской публицистике.

Меня дома держали строже, чем кого-либо из моих одноклассников; но эта строгость была больше внешняя, да и то по известным только пунктам. Самый главный, от которого приходилось всего обиднее, это – надзор, в виде гувернера, запрет ходить одному по улице, посещать своих товарищей без дозволения. Но на таком «положении» был едва ли не я один во всем классе. Остальные – особенно дети мелких чиновников и разночинцев – пользовались большой свободой. Да и в гимназии мы не знали настоящего гнета. Начальство, когда мы стали подрастать, то есть директор и инспектор, не внушало нам страха. Мы над ними, за глаза, подсмеивались. Секли в нашей гимназии только до четвертого класса. Да и большинство никогда не проходило через эти экзекуции. Учили нас плохо, духовное влияние учителей было малое. В этом картина классной жизни в романе «В путь-дорогу» достаточна верна. Но нас не задерживали, не муштровали, у нас было много досуга и во время самых классов читать и заниматься чем угодно. Много не учебных книжек, журналов и романов, прочитывалось на уроках. И первые по счету (мы сидели по успехам) ученики всего больше уклонялись от классной дисциплины. Уроки они знали хорошо. Сидеть и слушать, как отвечают другие, – скука. Они читали или писали переводы и упражнения для приятелей.

Мой товарищ по гимназии, впоследствии заслуженный профессор Петербургского университета В.А.Лебедев, поступил к нам в четвертый класс и прямо стал слушать законоведение. Но он был дома превосходно приготовлен отцом, доктором, по латинскому языку и мог даже говорить на нем. Он всегда делал нам переводы с русского в классы словесности или математики, иногда нескольким плохим латинистам зараз. И кончил он с золотой медалью.

Да и дома приготовление уроков брало каких-нибудь два часа. Тяжелых письменных работ мы не знали.

В результате – плохая школьная *выучка*; но охота к чтению и гораздо большая развитость, чем можно бы было предположить по тем временам.

Разносословный состав товарищей делал то, что мальчики не замыкались в кастовом чувстве, узнавали всякую жизнь, сходились с товарищами «простого звания».

Дурного я от этого не видал. Тех, кто был держан строго, в смысле барских запретов, жизнь в других слоях общества скорее привлекала, была чем-то вроде запретного плода. И когда, к шестому классу гимназии, меня стали держать с меньшей строгостью по части выходов из дому (хотя еще при мне и состоял гувернер), я сближался с «простецами» и любил ходить к ним, вместе готовиться, гулять, говорить о прочитанных романах, которые мы поглощали в больших количествах, беря их на наши крошечные карманные деньги из платной библиотеки.

Беллетристика – переводная и своя – и сказала в выборе сюжета того юмористического рассказа «Фрак», который я написал по переходе в шестой класс. Он был послан в округ (как тогда делалось с лучшими ученическими сочинениями), и профессор Булич написал рецензию, где мне сильно досталось, а два очерка из деревенской жизни – «Дурачок» и «Дурочка» ученика В.Ешевского (брата покойного профессора Московского университета, которого я уже не застал в гимназии) – сильно похвалил, находя в них достоинства во вкусе тогдашних повестей Григоровича.

Мы все изумлялись тому, как он мог написать такие два очерка, и даже заподозрили подлинность этого сочинительства. Беллетриста из него не вышло, а только чиновник, кажется провиантского ведомства.

Рецензия профессора Булича привела меня в некоторое смущение и посбавила моей школьной славы.

Хотя я и не мечтал еще тогда пойти со временем по чисто писательской дороге, однако, сколько помню, я собирался уже тайно послать мой рассказ в редакцию какого-то журнала, а может, и послал.

Учитель словесности уже не так верил в мои таланты. В следующем учебном году я, не смущаясь, однако, приговором казанского профессора, написал нечто вроде продолжения похождения моего героя, и в довольно обширных размерах. Место действия был опять Петербург, куда я не попадал до 1855 года. Все это было *сочинено* по разным повестям и очеркам, читанным в журналах, гораздо больше, чем по каким-нибудь устным рассказам о столичной жизни.

Читал я эту эпопею вслух в классе, по мере того как писал. Все слушали с интересом, в том числе и учитель.

Репутация «бойкого пера» утвердилась за мною. Но в округ наших сочинений уже не посылали. Не было, когда мы кончали, и тех «литературных бесед», какие происходили прежде. Одну из таких бесед я описал в моем романе с известной долей вымысла по лицам и подробностям.

На этих «беседах» происходили настоящие прения, и оппонентами являлись ученики. В моей памяти удержалась в особенности одна такая беседа, где сочинение ученика седьмого класса читал сам учитель, а автор стоял около кафедры.

На меня же, в двух последних классах, возлагалась почти исключительно обязанность читать вслух отрывки из поэтических произведений и даже прозу, например из «Мертвых душ». Всего чаще читались стихотворения и главы из поэм Лермонтова.

Выходит, стало быть, что две главных словесных склонности: художественное письмо и выразительное чтение – предмет интереса всей моей писательской жизни, уже были намечены до наступления юношеского возраста, то есть до поступления в университет.

Всего более отзывалось николаевским временем тогдашнее начальство: директор и инспектор. Они оставались все те же за все время учения. Не то чтобы они были бездарны и неумелы. Директор был из учителей словесности, и Ф.И.Буслаев с сочувствием говорит о нем в своих воспоминаниях о пензенской гимназии, где учился. Тогда этот самый «Янсон Петрович» выдавался как способный преподаватель, сумевший возбуждать в учениках любовь к словесности. А у нас он превратился в алкоголика и пугалу, никогда не бывал в классах и только на экзаменах желал выказывать свои познания в латинском языке и риторике. То, что приведено в моем романе о его способе экзаменовывать по стихосложению, не выдуманно.

Инспектор был из наших же учителей, духовного звания, как и директор; учил нас в первых двух классах латыни очень умело, хоть и по-семинарски; но, попав в инспекторы, сделался для нас «притчей во языцех», смешной фигурой полицейского, с наслаждением ловившего мальчуганов, возглашая при этом: «Стань столбом!» или: «Дик видом».

Не то что уже обаяния, высшего руководства, но даже простого признания их формального авторитета они в наших глазах не имели. Но, как я говорю выше, в общем весь этот школьный режим не развращал нас и не задерживал настолько, чтобы мы делали, как недавно, забытыми гимназической «муштрой».

Доказательство того, что у нас было много времени, – это запойное поглощение беллетристики и журнальных статей в тогдашней библиотеке для чтения, куда мы несли все наши деньжонки. Абонироваться было высшим пределом мечтаний, и я мог достичь этого благополучия только в шестом классе; а раньше содержатель библиотеки, старик Меледин, из балахнинских мещан, давал нам кое-какие книжки даром.

Это была типичнейшая фигура. Из малограмотных мещан уездного города он сделался настоящим *просветителем* Нижнего; имел на родине лавчонку, потом завел библиотеку и кончил свою жизнь заведующим городской публичной библиотекой, которая разрослась из его книгохранилища.

Он говорил на «он» и делал такие ударения: «Двадцать лет спустя», а не «спустя», называя заглавие романа Дюма-отца: «Vingt ans apres». Всякую книгу он знал и прочел, конечно, две трети томов своей библиотеки, тогда исключительно русской. С нами, подростками, он держал себя строговато и добродушно вместе, и втянуть его в разговор было нетрудно. Мы его выпрашивали насчет сюжета книжки или содержания статьи, и он умел возбуждать наш интерес, как никто. И впоследствии, в бесплатной городской библиотеке, он сам давал читателю то, что ему «нужно», видя каждого посетителя насквозь.

В такой библиотеке для чтения стоял воздух того, что теперь зовется «интеллигенцией», воздух если не научной, то словесной любознательности, склонности к произведениям изящного слова и критической мысли. Разумеется, мы бросались больше на романы. Но и в этой области рядом с Сю и Дюма читали Вальтера Скотта, Купера, Диккенса, Теккерея, Бульвера и, поменьше, Бальзака. Не по-французски, а по-русски прочел я подростком «Отец Горио» («Le Pere Goriot»), а когда мы кончали, герои Диккенса и Теккерея сделались нам близки и по разговорам старших, какие слышал я всегда и дома, где тетка моя и ее муж зачитывались английскими романистами, Жорж Зандом и Бальзаком, и почти исключительно в русских переводах.

Наших беллетристов мы успели поглотить если не всех, то многих, включая и старых повествователей и самых тогда новых, от Нарезного и Полевого до Соллогуба, Гребенки,

Буткова, Зинаиды Р-вой, Юрьевой (мать А.Ф.Кони), Вонлярлярского, Вельтмана, графини Ростопчиной, Авдеева – тогда «путейского» офицера на службе в Нижнем.

«Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Повести Белкина», «Арабески» Гоголя, «Мертвые души» и «Герой нашего времени» стояли над этим. Тургенева мы уже знали; но Писемский, Гончаров и Григорович привлекали нас больше. Все это было до 1853 года включительно.

Самое ценное, что было в гимназии, это идея *открытого* и *всесловного* заведения. Она была для каждого неглупого мальчика символом знания, умственной культуры, преддверием в университет.

Вместе со многими моими товарищами-дворянами, детьми местных помещиков и крупных чиновников, я был, в полном смысле, *питомец* министерства «народного просвещения», за ученье которого заплатили те же тридцать пять рублей за семилетний курс, как и за сына какой-нибудь торговки на Нижнем базаре или мелкого портного.

Бытовая сторона жизни гимназиста для будущего писателя была бы еще богаче содержанием, если б меня не так строго держали дома, если б до шестнадцатилетнего возраста при мне не состояли гувернеры.

Об этих гувернерах я уже рассказывал в отдельных очерках. Они печатались когда-то в газете «Новости», лет около двадцати назад.

Как учителя они были плохи. Не очень хороши и как воспитатели; но они нас *не портили*. А многое общекультурное пришло прямо через них. Немец, сын пастора в приволжской колонии, был ограниченный малый, но добродушный и умел привязать к себе, влиял всем своим бытовым складом, развивал рассказами, возбуждая любознательность, давал чувствовать, что такое сохранять достоинство и в некрасной доле «немца». Француз, живший у нас около четырех лет, лицо скорее комическое, с разными слабостями и чудачествами, был обломок великой эпохи, бывший военный врач в армии Наполеона, взятый в плен в 1812 году казаками около города Орши, потом «штаб-лекарь» русской службы, к старости опустившийся до заработка домашнего преподавателя.

От него чего я только не наслушался! Он видал маленького капрала целыми годами, служил в Италии еще при консульстве, любил итальянский язык, читал довольно много и всегда делился прочитанным, писал стихи и играл на флейточке. Знал порядочно и по-латыни и не без гордости показывал свою диссертацию на звание русского «штаб-лекаря» о холере: «*De cholera morbus*».

Это была старая Европа, Франция героической эпохи, не умиравший до смерти интерес к умственным и художественным впечатлениям! А то, чего он не мог мне дать как преподаватель, то доделал другой француз – А.-И. де Венси (de Vinci), тоже обломок великой эпохи, но с прекрасным образованием, бывший артиллерийский офицер времен Реставрации, воспитанник политехнической школы, застрявший в русской провинции, где сделался учителем и умер, нажив три дома. Ему я обязан *очень большой словесной муштрой*, вплоть до выхода из гимназии, на тех уроках, которые ходил брать у него на дому. *Так*, насколько я потом наблюдал, уже *не* учили и самые патентованные педагоги. О простых гимназических учителях и говорить нечего.

Уроки дома языков, музыки, учителя и репетиторы, вплоть до семинаристов, делали ученье разнообразным и позволяли завязывать приятельские отношения со всем этим народом, не исключая и семинаристов, являвшихся ко мне зимой в тулупах, покрытых нанкой.

И все это шло как-то само собой в доме, где я рос один, без особенного вмешательства родных и даже гувернеров. Факт тот, что если физическая сторона организма мало развивалась – но далеко не у всех моих товарищей, то голова работала. В сущности, целый день она была в работе. До двух с половиной часов – гимназия, потом частные учителя, потом готовиться к завтрашнему дню, а вечером – чтение, рисование или музыка, кроме послеобеденных уроков.

Такой режим совсем не говорил о временах запрета, лежавшего на умственной жизни. Напротив! Да и разговоры, к которым я прислушивался у больших, вовсе не запугивали и не отталкивали своим тоном и содержанием. Много я из них узнал положительно интересного. И у всех, кто был поумнее, и в мужчинах и в женщинах, я видел большой интерес к чтению. Формальный запрет, лежавший, например, на журналах «Отечественные записки» и «Современник» у нас в гимназии, не мешал нам читать на стороне и тот и другой журналы.

И, кроме старших из своего сословия и круга, учителей и гувернеров, развивали нас и *дворяне*.

Это вовсе не парадокс и не выдумка.

В тех газетных очерках, о которых я сейчас упомянул, я говорю о дворовых, моих друзьях, от которых я многому научился, и вовсе не в дурном смысле.

Типичнейшая личность старой девицы Лизаветы (вольноотпущенной моей прабабки с материнской стороны) вошла и в мой первый роман. И эта «Лизавета Андреевна» стояла целой энциклопедии. Она жила на покое и запойно читала. Нет ни малейшего преувеличения в том, что я сообщал в тех очерках о ее изумительной памяти и любознательности во всем, что – история, политика, наполеоновская эпоха, война 1812 года. Она знала наизусть имена маршалов Наполеона, даже таких, о которых у нас выпускные гимназисты никогда не слыхали, имена и возраст членов *всех* царствующих домов. Она читала решительно все, что могла достать: газеты, журналы, романы, многотомные сочинения, *всю* историю Карамзина и описания таких обширных путешествий, как кругосветное плавание Дюмон-Дюрвиля. Любимые ее темы были: исторические личности – Наполеон, Иван Грозный, Карл XII, Петр Великий, Екатерина Вторая, король Густав-Адольф.

Спрашивается: каким образом могло бы сложиться бытовое лицо такой Лизаветы Андреевны, если б в том доме, где она родилась дворовой девчонкой, не было известного умственного воздуха?

Дворяне для меня, да и не для одного меня, были связующим звеном с деревней, с народом. Половину их, молодых, брали из деревни; остальные – родились уже в дворне. И девичья, и прихожая, и, главное, столярная и другие службы и в городе и в деревне были для меня предметом живого интереса. У меня заводилось приятельство и со старыми и с молодыми. От женского пола не видал я никакого порочного влияния даже и в те годы, когда из отрока вырастал в юношу. Рассказы няньки, горничных, буфетчика, столяров, старого повара и подростков-поварят, псарей, музыкантов – все это обогащало знание *быта*, делало ближе к народу, забавляло или заставляло его жалеть, или бояться за других.

«Музыкантская» потянула к скрипке, и первый мой учитель был выездной «Сашка», ездивший и «стремянным» у деда моего. К некоторым дворовым я привязывался. Садовник Павел и столяр Тимофей были моими первыми приятелями, когда мы, летом, переезжали в подгородную деревню Анкудиновку, описанную мною в романе под именем «Липки».

Это ежегодное жительство в усадьбе с мая до августа дополняло то, что давали город и гимназия.

И тут я еще раз хочу подтвердить то, что уже высказывал в печати, вспоминая свое детство. «Мужик» совсем не представлялся нам как забитое, жалкое существо, ниже и несчастнее которого нет ничего. Напротив! Все рассказы дворовых – и прямо деревенских, и родившихся в дворне – вертелись всегда на том, как *привольно* живет крестьянам, какие они бывают богатые и сколько разных приятностей и забав доставляет деревенская жизнь.

Мужицкой нищеты мы не видали. В нашей подгородной усадьбе крестьяне жили исправно, избы были новые и выстроенные по одному образцу, в каждом дворе по три лошади, бабы даже франтили, имея доход с продажи в город молока, ягод, грибов. Нищенство или голытьбу в деревне *мы даже с трудом могли себе представлять*. Из дальних округ приходили круглый год обозы с хлебом, с холстом, с яблоками, свинными тушами, живностью, грибами.

Все это были барские *поборы*; но сами крестьяне от этого не падали в наших глазах. Мы на них смотрели *как на тень почтенное сословие*. Их говор, вся повадка, одёжа, особенно женская, – все это нам нравилось. А некоторые личности из крестьянства внушали даже большое *почтение*. Это были те богатые мужики, которые ходили по оброку и занимались торговлей. Одного из них, старика тряпичника, господу принимали почти как «особу» и говорили о нем, как об умнейшем человеке, с капиталом чуть не в сто тысяч на ассигнации. Он на волю не желал выходить, но сыновей «выкупил».

Подрастая, каждый из нас останавливался на праве помещика владеть душой и телом крепостных. Протестов против такого порядка вещей мы не слышали от взрослых, а недовольство и мечты о «вольной» замечали всего больше среди дворовых. Но, повторяю, отношение к крестьянству как к *особому сословию* и к деревенской жизни вынесли мы отнюдь не презиращее или унижительно-жалостливое, а *почтительное* и заинтересованное в самом *лучшем* смысле.

Деревня была для нас символом приволья, свободы от срочных занятий, простора, прогулок, картин крестьянской жизни, сельских работ, охоты, игр с ребяташками, искания ягод, цветов, трав. И попутно весь быт выступал перед вами, до самых его глубоких устоев, до легенд и поверий древнеязыческого склада.

Рассказы дворовых были драгоценны по своему бытовому разнообразию. В такой губернии, как Нижегородская, живут всякие инородцы, а коренные великороссы принадлежат к различным полосам на севере и на юге по Волге, вплоть до дремучих тогда лесов Заволжья и черноземных местностей юго-восточных уездов и «медвежьих углов», где водились в мое детство знаменитые «медвежатники», ходившие один на один на зверя, с рогатиной или плохим кременным ружьишком.

Вотчинные права барина выступали и передо мною во всей их суровости. И в нашем доме на протяжении десяти лет, от раннего детства до выхода из гимназии, происходили случаи помещицкой карательной расправы. Троим дворовым «забрили лбы», один ходил с полгода в арестантской форме; помню и экзекуцию пса на конюшне. Все эти наказания были, с господской точки зрения, «за дело»; но бесправие наказуемых и бесконтрольность карающей власти вставали перед нами достаточно ясно и заставляли нас тайно страдать.

Наш дом во всем городе был едва ли не самый строгий. Но о возмутительных превышениях власти у нас или у других, еще менее об истязаниях или мучительствах, не было, однако, и слухов за все время моего житья в Нижнем. Барского цинического разврата в городе тоже не водилось; а у нас не было и подобия какой-либо барской грязи. Между дворовыми некоторые тайно попивали, были любовные связи без законного штемпеля; но все это в гораздо меньшей степени, чем это было бы теперь. И за ними смотрели строго, и сами не подавали никакого соблазнительного примера.

По губернии водились очень крутые помещики, вроде С.В.Шереметева; но «извергов» не было, а опороченный всем дворянством князь Грузинский неоднократно уличался в том, что принимал к себе *беглых*, которые у него в приволжском селе Лыскове в скором времени и богатели.

Все это я говорю затем, чтобы показать необходимость *объективнее* относиться к тогдашней жизни. С 60-х годов выработался один как бы обязательный *тон*, когда говорят о николаевском времени, об эпохе крепостного права. Но ведь если так прямолинейно освещать минувшие периоды культурного развития, то всю греко-римскую цивилизацию надо *похерить* потому только, что она держалась за рабство.

Здесь, в этих воспоминаниях, я подвожу итоги всему тому, что могло развивать отрока и юношу, родившегося и воспитанного в среде тогдашнего привилегированного сословия и в условиях тогдашнего государственного строя.

Крепостников из нас не вышло, по крайней мере очень многих из нас; прямо развращающих влияний не вынесли мы ни из гимназии, ни из домашней обстановки, даже не приобрели замашек тщеславия и суетности более, чем бы это случилось в настоящее время. Все, что тогда было поживей умом и попорядочнее, мужчины и женщины, по-своему шло вперед, читало, интересовалось и событиями на Западе, и всякими выдающимися фактами внутренней жизни, подчинялось, правда, общему гнету сверху, но не всегда мирилось с ним, сочувствовало тем, кто «пострадал», значительно было подготовлено к тому движению, которое началось после Крымской войны, то есть всего три года после того, как мы вышли из гимназии и превратились в студентов.

На что уж наш дом был старинный и строгий: дед-генерал из «гатчинцев», бабушка – старого закала барыня, воспитанная еще в конце XVIII века! И в таком-то семействе вырос младший мой дядя, Н.П.Григорьев, отданный в Пажеский корпус по лично выраженному желанию Николая и очутившийся в 1849 году замешанным в деле Петрашевского, сосланный на каторгу, где нажил медленную душевную болезнь.

Вот вам барчонок, прошедший обычную выучку сословно-военную, а гвардейским офицером он сближается с кружком тогдашних социальных мечтателей (вероятно, через знакомство с А.Н.Плещеевым), пишет какую-то «Солдатскую беседу» и приговаривается сначала к смертной казни.

Этот дядя, когда наезжал к нам в отпуск, был всегда очень ласков со мною, давал мне читать книжки, рассказывал про Петербург, про театры, про разные местности России, где стоял, когда служил еще в армейской кавалерии. Разумеется, своих протестующих идей он не развивал перед гимназистиком по двенадцатому году; но в нем, питомце светско-придворного корпуса, не было никакой военщины ни в тоне, ни в манерах, ни в нравах.

Да и старший мой дядя – его брат, живший всегда при родителях, хоть и опустился впоследствии в провинциальной жизни, но для меня был источником неистощимых рассказов о Московском университетском пансионе, где он кончил курс, о писателях и профессорах того времени, об актерах казенных театров, о всем, что он прочел. Он был юморист и хороший актер-любитель, и в нем никогда не замирала связь со всем, что в тогдашнем обществе, начиная с 20-х годов, было самого развитого, даровитого и культурного.

И тут уместен вопрос: воспользовалась ли наша беллетристика *всем*, чем могла бы, в русской жизни 40-х и половины 50-х годов?

Смело говорю: *нет, не воспользовалась*. Если тогда силен был цензурный гнет, то ведь многие стороны жизни, людей, их психика, характерные стороны быта можно было изображать и не в одном обличительном духе. Разве «Евгений Онегин» не драгоценный документ, помимо своей художественной прелести? Он полон бытовых черт средне-дворянской жизни с 20-х по 30-е годы. Даже и такая беспощадная комедия, как «Горе от ума», могла быть написана тогда и даже напечатана (хотя и с пропусками) в николаевское время.

«Семейная хроника» Аксакова – доказательный пример того, как беллетристика могла бы воспроизводить и тогдашнюю жизнь. Можно было расширить рамки и занести в летопись русского общества огромный материал и вне тех сюжетов, которые подлежали запрету.

Каким образом, спрошу я, могли народиться те носители новых идей и стремлений, какие изображались Герценом, Тургеневым и их сверстниками в 40-х годах, если бы во всем тогдашнем культурном слое уже не имелось налицо *элементов* такого движения? Русская передовая беллетристика торопилась выбирать таких носителей идей; но она упускала из виду *многое*, что уже давно сложилось в характерные стороны тогдашней жизни, весьма и весьма достойные творческого воспроизведения.

То, что Тургенев и Григорович сделали для знакомства с миром мужика, с его душой и бытом, то весьма и весьма возможно было и для среднего барско-чиновничьего мира, где вырабатывалась *вся дальнейшая русская культура*.

Без всякой предвзятости, не мудрствуя лукаво, без ложной идеализации и преувеличений, беллетристика могла черпать из жизни каждого губернского города и каждой усадьбы еще многое и многое, что осталось бы достоянием нашей художественной литературы.

Каюсь, и в романе «В путь-дорогу» губернский город начала 50-х годов все-таки трактован с некоторым обличительным оттенком, но разве то, что я связал с отрочеством и юностью героя, не говорит уже о множестве задатков, без которых взрыв нашей «Эпохи бури и натиска» был бы немыслим в такой короткий срок?

Перед поступлением в студенты те из нас, кто был поразвитее и поспособнее, уже вобрали в себя много всяких поощрений к дальнейшему развитию.

Это несомненно! Мы подросли в уважении к *идее университетской науки*, приобрели склонность к чтению, уходили внутренним чувством и воображением в разные сферы и чужой и своей жизни, исторической и современной. В нас поощряли интерес к искусству, хотя бы и в форме дилетантских склонностей, к рисованию, к музыке. Мы рано полюбили и театр.

Сценическое искусство в провинции, как известно, прямой продукт помещичьего дилетанства на крепостной почве. Происхождение театра в Нижнем Новгороде уже прямо барски-крепостное.

Князь Шаховской, местный помещик, завел первый публичный театр с платою, и после его смерти все актеры и актрисы очутились «вольными», но очень долго, до моих отроческих лет, ядро труппы состояло еще из бывших дворовых князя Шаховского. Одним из первых сюжетов труппы была Х.И.Таланова (по себе Стрелкова), которая умерла на казенной службе, артисткой московского Малого театра. Ее сестра, Ал. Ив. Стрелкова, стала провинциальной знаменитостью, играла и в столицах. Первый любовник Трусов был уже актером в платном театре из крепостных господ Ульяниных, из крепостных вышел и первый комик Соколов, позднее «полезность» московского Малого театра.

Старые господа еще продолжали называть актрис и актеров только по именам: «Минай», «Ханея» (Таланова), «Аннушка» (талантливая Вышеславцева), но в поколении наших родителей уже не было к ним никакого унижающего отношения. Всегда они говорили о них в добродушном тоне, рассказывая нам про свои первые сценические впечатления, про те времена, когда главная актриса (при мне уже старуха) Пиунова (бабушка впоследствии известной актрисы) играла все трагические роли в белом канифасовом платье и в красном шерстяном платке, в виде мантии.

Нас рано стали возить в театр. Тогда все почти дома в городе были абонированы. В театре зимой сидели в шубах и салопках, дамы в капорах. Впечатления сцены в том, кому суждено быть писателем, – самые трепетные и сложные. Они влекут к тому, что впоследствии развернется перед тобою как бесконечная область творчества; они обогащают душу мальчика все новыми и новыми эмоциями. Для болезненно-нервных детей это вредно; но для более нормальных это – великое бродило развития.

Большой литературности мы там не приобретали, потому что репертуар конца 40-х и начала 50-х годов ею не отличался, но все-таки нам давали и «Отелло» в Дюсисовой переделке, и мольеровские комедии, и драмы Шиллера, и «Ревизора», и «Горе от ума», с преобладанием, конечно, французских мелодрам и пьес Полевого и Кукольника.

Но мелодрама для детей и народной массы – безусловно *развивающее и бодрящее зрелище*. Она вызывает всегда благородные порывы сердца, заставляет плакать хорошими слезами, страдать и бояться за то, что достойно сострадания и симпатии. И тогдашний водевиль, добродушно-веселый, часто с недурными куплетами, поддерживал живое, жизнерадостное настроение гораздо больше, чем теперешнее скабрешное шутовство или пессимистические измышления, на которые также возят детей.

Беря в общем, тогдашний губернский город был далеко не лишен культурных элементов. Кроме театра, был интерес и к музыке, и местный барин Улыбышев, автор известной француз-

ской книги о Моцарте, много сделал для поднятия уровня музыкальности, и в его доме нашел оценку и всякого рода поддержку и талант моего товарища по гимназии, Балакирева.

Как бы я, задним числом, ни придирался к тогдашней жизни, в период моего гимназического ученья (1846–1853 годы), я бы никак не мог поставить ее в такой мрачный свет, как сделал, например, М.Е.Салтыков в своем «Пошехонье». Он описывает эпоху, близкую по годам к моему времени. Разница в десяток лет, не более. Нравы дворянско-чиновничьего круга в тогдашнем Нижнем не были так жестоки. Крепостное право и весь строй казенной службы держались, правда, на узурпации и подкупе; но опять-таки не с таким повальным бездушием, тиранством и хищением для того города и даже губернии, где я вырос.

Нравы семей, составлявших тогдашнее «общество», были сами по себе вовсе не грязнее нынешних. Распады брачных уз случались редко, в виде «разъезда»; о разводах я не помню, но, наверное, они были все наперечет; зверств и истязаний не водилось, по крайней мере в городе. Наш дом считался старозаветным, и дворовых одевали и кормили в нем скупее, чем у других; но и в нем я не помню никакого возмутительного «сквалыжничества», а еще менее каких-нибудь жестокостей, особенно в поколении моих дядей, моей матери и тетки. Никогда я не видал, чтобы они кого-нибудь ударили из своей прислуги.

Общество не было и исключительно сословным. В него проникали все: чиновники, учителя гимназии, архитекторы, образованные или только полированные купцы. Дворян с видным положением в городе, женатых на купчихах, почти что не было, что показывало также, что за одним приданым не гонялись, хотя в городе и тогда было немало богатых купцов, водились и миллионеры.

Нравственность надо различать. Есть известные виды *социального зла*, которые вошли в учреждения страны или сделались закоренелыми привычками и традициями. Такая безнравственность все равно что рабство древних, которое такой возвышенный мыслитель, как Платон, возводил, однако, в краеугольный камень общественного здания.

Тогдашний режим поддерживал, конечно, низкую социальную нравственность; но в том, что составляло семейную мораль и мораль общежития, я, если не кривить душой, не помню ничего глубоко испорченного, цинического или бездушного. Надо даже удивляться, что при тогдашних законных жестокостях, «торговой казни», плетях и кнутах, шпицрутенах и так далее, сохранялось много доброго и прямо честного. А эти жестокости суда и расправы возмущали лучших людей и среди старших, и нас, юнцов, не менее, чем бы это было и теперь. Все мои сверстники подтвердят то, что тогда «николаевщина» если и страшила, то настолько же вызывала и глухое недовольство. Тогда каждый политический ссыльный, всякий «штрафной», попавший на подневольное житье в провинцию, был предметом *безусловного сочувствия всех порядочных людей*.

Спрашиваю еще раз: как бы это могло быть, если бы в тогдашнем обществе уже не назревали высшие душевные запросы? И назревали они с 20-х годов.

О «декабристах» я мальчиком слышал рассказы старших, всегда в одном и том же сочувственном тоне. Любое рукописное стихотворение, любой запретный листок, статья или письмо переписывались и заучивались наизусть.

Заметьте, что я лично лишен был, сравнительно с товарищами, свободы знакомств и выходов из дому до седьмого класса; но все-таки был «в курсе» всего, чем тогда жило общество.

Благодарны, должны мы быть и за то, что из нас не сделали ханжей, лицемеров или искренних мистиков, это все равно. Время было строгое, но больше формально. Ни дома, ни в гимназии нас не подавляли требованиями обязательного благочестия. «Батюшка» учил нас Закону Божию, а дома соблюдались предания: ездили к обедне, говели, разговлялись – все это истово, *но без всякого излишества*, и религиозное чувство поддерживалось простое, здоровое и, в юных летах, не лишенное отрадных настроений в известные праздники, в говенье, на Пасху, в Троицу.

Мы опять-таки сливались в этом с народом, с дворовыми и крестьянами. Разница была только в том, что нас учили, что мы знали молитвы и катехизис и освобождались от многих суеверных страхов.

Никакой нетерпимости нам не прививали. Никогда не было кругом разговоров в злобном или пренебрежительном духе о других религиях. Свобода совести в гимназии уважалась больше, *чем теперь*, потому что «инославные» ученики не бывали обязаны участвовать в православных молитвах и уходили от класса Закона Божия. Травли «жидов» и поляков – никакой. Евреи для нас были забитые кантонисты, *наильно крещенные*, или будочники, а поляки – «несчастный народ», и генерала Костюшку мы прямо считали героем. Очень рано я полюбил рассказы моего старшего дяди о расколе в Нижегородской губернии и переписывал его докладную записку, которую он составлял как чиновник особых поручений.

Мы не сочувствовали тогдашним строгостям, и раскол с его скитами имел для нас что-то таинственное и, скорее, привлекательное.

Словом, в тех из нас, из кого мог выйти какой-нибудь прок, не было к выходу из гимназии никакой «николаевской» закваски.

Рано и звание писателя было окружено для меня особым обаянием.

Разумеется, в тогдашней провинции не могло быть много местных литераторов, да еще в простом, не в университетском городе. Но целых три известности были по рождению или службе нижегородцы.

Во-первых, П.И.Мельников-Печерский.

О нем я знал с самого раннего детства. Он был долго учителем нашей гимназии; но раньше моего поступления в нее перешел в чиновники по особым поручениям к губернатору и тогда начал свои «изучения» раскола, в виде следствий и дознаний. Еще ребенком я слышал о нем как о редакторе «Губернских ведомостей» и составителе книжки о Нижегородской ярмарке.

Помню его, уже позднее, в один из приемных дней, кажется в именины моей бабушки, когда весь город приезжал ее поздравлять. Но у нас он не был постоянным гостем. И бабушка моя его недолюбливала, называла чуть не «кутейником» (хотя он не был из семинаристов), особенно после его женитьбы, во второй раз, на очень молоденькой своей ученице, местного дворянского рода. Еще позднее, когда он наезжал в Нижний по статистике уже как столичный чиновник, мы читали его первые талантливые рассказы в «Москвитянине», под псевдонимом Печерского. В них, конечно, все искали живых лиц из знакомых, так же как и в первом произведении другого нижегородца, по службе, М.В.Авдеева.

Этот ездил к нам всего чаще на половину моего старшего дяди, только что женившегося.

Авдеев служил «путейским» офицером. Тогда инженеры путей сообщения и «публичных зданий» получали военную выправку и носили довольно красивый мундир с аксельбантом и каску с черным волосяным султаном. В Нижнем читали нарасхват его повесть «Варенька», первую треть его трилогии «Тамарин». Все лица были «расписаны», начиная с самой героини. За это его не чурались в нижегородском «монде» (обществе), везде принимали, считали очень умным и колким; но подсмеивались над его некрасивой наружностью, претензиями на сердечество и сочиняли на него стишки. Когда путейцам дали усы, это послужило поводом к стихотворному памфлету, который все распевали под фортепьяно. И меня выучили этим стихам. И я пел:

Штабс-капитан у нас Авдеев:
Он счастье нашел в усах,
Огонь похитил Прометеев
И разразился в острогах.
Когда усы путейцам дали,

То Нижний весь затрепетал.
Усы чем больше подрастали,
Авдеев больше всех пленял.

И так еще в нескольких строфах.

Но все это было добродушно, без злости. Того оттенка недоброжелательства, какой теперь зачастую чувствуется в обществе к писателю, тогда еще не появлялось. Напротив, всем было как будто лестно, что вот есть в обществе молодой человек, которого «печатают» в лучшем журнале.

«Варенька», а позднее весь «Тамарин» и тогда уже понимались, как вещи в «жорж-зандовском» направлении. Тогда уже появились и в дворянском кругу и девушки и замужние женщины с налетом любовно-романтического настроения, поглощавшие и в подлиннике и в переводах «Индиану», «Лелию», «Консуэло», «Жака», «Мопра», «Лукрецию Флориани».

С этим путейцем-романистом мне тогда не случилось ни разу вступить в разговор. Я был для этого недостаточно боек; да он и не ездил к нам запросто, так, чтобы набраться смелости и заговорить с ним о его повести или вообще о литературе. В двух-трех более светских и бойких домах, чем наш, он, как я помню, считался приятелем, а на балах в собрании держал себя как светский кавалер, танцевал и славился остротами и хорошим французским языком.

Третья и большая тогда известность, В.И.Даль, служил управляющим удельной конторой, уже после того, как составил себе имя под псевдонимом Казака Луганского.

Он почти нигде не бывал. Меня к нему повезли уже студентом. Но он и в нас, гимназистах, возбуждал сильное любопытство. Его считали гордецом, большим «чудодеем», много сплетничали про него как про начальника своего ведомства, про его семейную жизнь, воспитание детей и привычки. Он образовал кружок врачей и собирал их у себя на вечеринки, где, как тогда было слышно, говорили по-латыни. Много было толков и про шахматные партии вчетвером, которые у него разыгрывались по известным дням. То, что было поразительнее, и помимо его коллег врачей, искало его знакомства; но светский круг побаивался его чудачеств и угрюмости.

Дядя (со стороны отца), который повез меня к нему уже казанским студентом на втором курсе, В.В.Боборыкин, был также писатель, по агрономии, автор книжки «Письма о земледелии к новичку-хозяину».

По тому времени он представлял собою довольно редкое явление в дворянско-помещичьей среде. После бурной молодости гвардейского офицера, сосланного на Кавказ, он прошел через прожигание жизни за границей, где стал учиться и рациональному хозяйству, вперемежку с нервными заболеваниями. Женившись, он поселился в деревне, недалеко от Нижнего, и стал чем-то вроде Л.Н.Толстого по проповеди опрощения и по опытам разных усовершенствований в домоводстве, по идеям сближения с народом и работе над его просвещением, по более гуманному отношению к своим крепостным.

Его долго считали «с винтиком» все, начиная с родных и приятелей. Правда, в нем была заметная доля странностей; но я и мальчиком понимал, что он стоит выше очень многих по своим умственным запросам, благородству стремлений, начитанности и природному красноречию. Меня обижал такой взгляд на него. В том, что он лично мне говорил или как разговаривал в гостиную, при посторонних, я решительно не видал и не слышал ничего нелепого и дикого.

Такой Василий Васильевич был как бы предшественником помещика Ясной Поляны, без его дарования, но с таким же неутомимым исканием правды.

Он кончил очень некрасной долей, растратив весь свой наследственный достаток. На его примере я тогда еще отроком, по пятнадцатому году, понимал, что у нас трудненько жилось всем, кто шел по своему собственному пути, позволял себе ходить в полушубке вместо барской шубы и открывать у себя в деревне школу, когда никто еще детей не учил грамоте, и хлопотать о лишних заработках своих крестьян, выдумывая для них новые виды кустарного промысла.

То, что Ломброзо установил в душевной жизни масс под видом *мизантропии*, то есть страха новизны, держалось еще в тогдашнем сословном обществе, да и теперь еще держит в своих когтях массу, которая сторонится от смелых идей, требующих настоящей общественной ломки.

И вот судьбе угодно было, чтобы такой местный писатель, с идеями, не совсем удобными для привилегированного сословия, оказался моим родным дядей.

Проезжали Нижним и другие более крупные величины и по тому времени, и для всех эпох развития русской литературы.

Пушкин, отправляясь в Болдино (в моем, Лукояновском уезде), жил в Нижнем, но это было еще до моего рождения. Дядя П.П. Григорьев любил передавать мне разговор Пушкина с тогдашней губернаторшей, Бутурлиной, мужем которой, Михаилом Петровичем, меня всегда дразнили и пугали, когда он приезжал к нам с визитом. А дразнили тем, что я был ребенком такой же «курносый», как и он.

Не могу подтвердить точность пересказа одной из шуточных тирад Пушкина; но разговор его с губернаторшей, *в редакции дяди*, остался у меня в памяти очень отчетливо.

Это было в холерный год.

– Что же вы делали в деревне, Александр Сергеевич? – спрашивала Бутурлина. – Скучали?

– Некогда было, Анна Петровна. Я даже говорил проповеди.

– Проповеди?

– Да, в церкви, с амвона. По случаю холеры. Увещевал их. «И холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь!»

К Пушкину старшее поколение относилось так, как вся грамотная Россия стала смотреть на него после московского торжества открытия памятника и к столетию. Конечно, менее литературно, но с высоким почтением и нежностью. Мы, когда подрастали, зачитывались Лермонтовым, и Пушкин, особенно антологический, уже мало на нас действовал. Спор между товарищами в моем романе более или менее «создан» мною, но в верных мотивах. И в нем тетка Телепнева пушкинистка, а музыкант Горшков – лермонтист.

На поколении наших отцов можно бы было видеть (только мы тогда в это не вникали), как Пушкин воспитал во всех, кто его читал, поэтическое чувство и возбуждал потребность в утехе изящного творчества. Русская жизнь в «Онегине», в «Капитанской дочке», в «Борисе» впервые воспринималась как предмет эстетического любования, затрагивая самые коренные расовые и бытовые черты.

Другая *тогдашняя* знаменитость бывала не раз в Нижнем, уже в мое время. Я его тогда сам не видал, но опять, по рассказам дяди, знал про него много. Это был граф В.А. Соллогуб, с которым в Дерпте я так много водился, и с ним, и с его женой, графиней С.М., о чем речь будет позднее.

До 50-х годов имя Соллогуба было самым блестящим именем тогдашней беллетристики; его знали и читали больше Тургенева. «Тарантас» был несомненным «событием» и получил широкую популярность. И повести (особенно «Аптекарь») привлекали всех; и модных барынь, и деревенских барышень, и нас, подростков.

Соллогуб гостил, попадая в Нижний, у тогдашнего губернского предводителя, Н.В. Шереметева, брата того сурового вотчинника, который послужил мне моделью одной из старобытовых фигур в моем романе «Земские силы», оставшемся недоконченным.

Дядя передавал все анекдоты, стишки, экспромты, остроты Соллогуба, в том числе такую с довольно-таки циническим намеком.

Тогда в моде была «Семирамида» Россини, где часто действуют трубы и тромбоны. Соллогуб, прощаясь с своим хозяином, большим обжорой (тот и умер, объевшись мороженого),

пожелал, чтобы ему «семирамидалось легко». И весь Нижний стал распевать его куплеты, где описывается такой «казус»: как он внезапно влюбился в невесту, зайдя случайно в церковь на светскую свадьбу. Дядя выучил меня этим куплетам, и мы распевали юмористические вирши автора «Тарантаса», где была такая строфа:

В церкви дамы, как печи,
Растопырили плечи,
А жених – *ma parole!* (честное слово!)
Как бубновый король!

Но в итоге тогдашняя литература и писатели, как *писатели*, а не как господа с известным положением в обществе, стояли очень высоко во мнении всех, кто не был уже совсем *малограмотным* обывателем.

Самым сильным зарядом художественных настроений перед поступлением в студенты была моя поездка в Москву к Масленице зимой 1852–1853 года.

Сестра моя – мы с ней были в разлуке больше восьми лет – выходила из Екатерининского института в Петербурге. Брать ее из института поехала туда тетка, старшая сестра моей матери.

Этого свидания я поджидал с радостным волнением. Но ни о какой поездке я не мечтал. До зимы 1852–1853 года я жил безвыездно в Нижнем; только лето до августа проводил в подгородной усадьбе. Первая моя поездка была в начале той же зимы в уездный город, в гости, с теткой и ее воспитанницей, на два дня.

Мы были в детстве так не избалованы по этой части, что и эта поездка стала маленьким событием. О посещении столицы я и не мечтал.

И вдруг неожиданно-негаданно перед Масленицей дядя надумал ехать в Москву и брал меня с собою.

Я уже выезжал на балы в Дворянское собрание и носил фрак, стыдился гимназического мундира, играл в большого. И вот предстояла поездка в Москву на всю Масленицу как молодому человеку, без ненавистной «красной говядины», как тогда называли алый воротник гимназистов.

Меня быстро снарядили. Даже расчетливый дедушка дал на поездку что-то вроде «беленькой»; позволение было добыто у гимназического начальства, и в пятницу на предмасленой неделе кибитка уносила нас по Московскому шоссе.

Самый путь – около четырехсот верст на перекладных – был большой радостью! Станции, тройки, уханье ямщика, еда в почтовых гостиницах в Вязниках и Владимире, дорожные встречи и все возмраставшее волнение, по мере того как мы близились к Москве.

Это не мешало спать в кибитке – мы ехали без ночевки, и во вторую ночь с меня спала шапка, и я станции две пролежал с непокрытой головой, что и сказалось под конец моей московской одиссеи.

Помню, как ранним утром в полусвете серенького, сиверкого денька въехала наша кибитка в Рогожскую. Дядя еще спал, когда я уже поглядывал по сторонам. Он всю дорогу поддерживал во мне взвинченное настроение. Лучшего спутника и желать было нельзя. Москву он прекрасно знал, там учился, и весь тогдашний дорожный быт был ему особенно хорошо знаком, так как он долго служил чиновником по особым поручениям у почт-инспектора и часто езжал ревизовать по разным трактам.

Москва – на окраинах – мало отличалась тогда от нашего Нижнего базара, то есть приречной части нашего города. Тут все еще пахло купцом, обывателем. Обозы, калачные, множество питейных домов и трактиров с вывесками «Ресторация». Это название трактира теперь совсем вывелось в наших столицах, а в «Герое нашего времени» Печорин так называет еще тогдашнюю гостиницу с рестораном на Минеральных Водах.

Но вот мы на Солянке.

– Тут много заложено имений у нашего брата! – указал мне дядя на здание Воспитательного дома, тогдашний Общегосударственно-Земельный банк.

На Солянке же воздымались и хоромы богача Шепелева, нижегородского помещика – одного из последних фанатиков дилетантства, который сам пел в операх с труппой своего крепостного театра. Мой учитель, первая скрипка нашего театра, А-в, был также из вольноотпущенных этого самого Шепелева.

Ниже, на Мясницкой, дядя указал мне на барские же хоромы на дворе, за решеткой (где позднее были меблированные комнаты, а теперь весь он занят иностранными конторами) – гостеприимный дом братьев Нилусов, игроков, которые были «под конец» высланы за подзрительную игру со своими гостями. К ним ездили, как в клуб, и сотни тысяч помещичьих денег переходили из Опекунского совета прямо по соседству – в дом Нилусов.

Мы спускались и поднимались, ныряя по ухабам. Тут я почувствовал впервые, что Москва действительно расположена на холмах, как Рим. Но до Красной площади златоверхая первопрестольная столица не отзывалась еще, даже на мой провинциальный взгляд юноши нигде не бывавшего, чем-нибудь особенно столичным. Весь ее пошиб продолжал быть обывательско-купецким.

На Красной площади стены Кремля, Василий Блаженный, Спасские и Никольские ворота, главы соборов, памятник Минину – все это сейчас же иначе настраивало.

– А тут вот Яма! – указал дядя на старинный дом у Воскресенских ворот.

Я уж знал, что «Ямой» по-московски называли долговую тюрьму.

Перед нами открылась площадь с выездом на Театральную площадь. Справа тянулось двухэтажное приземистое здание тогдашнего Московского трактира, или «Турина заведения», как называли москвичи.

От дяди я уже слышал рассказы о том, как там кормят, а также и про Печкинскую кофейню, куда я в тот приезд не попал и не знаю, существовала ли она в своем первоначальном виде в ту зиму 1852–1853 года.

Все на том же месте и с тем же фасадом на Тверскую и проезд стояла гостиница «Париж». Ее выбрал дядя, не любивший франтить ни в чем и по-провинциальному экономный, но не скупой.

Гостиница эта была средней руки и тогда, и мы очутились в высоком номере, с перегородкой, где я сейчас же свалился на диван, чувствуя, что меня начинает уже «ломать» от двухчасовой езды без шапки по морозу, хотя и не трескучему.

Но мне не полагалось хворать. Я стремился в театр, и в первый же вечер я с верхней галереи Большого театра смотрел тогдашнюю «фурорную» (по теперешнему жаргону) пьесу Сухонина «Русская свадьба».

Тогда драматические спектакли шли постоянно – попеременно – на обоих театрах. Балеты давались чаще опер, и никто из певцов меня не привлекал, кроме Бантышева в его прославленной роли Торопки-гудочника в «Аскольдовой могиле» Верстовского, бывшего тогда директором.

«Русская свадьба» и тогда не восхитила меня. Мои литературные вкусы требовали уже иных художественных впечатлений. «Горе от ума», «Ревизор» и «Женитьба» готовили мне другие наслаждения.

Тогдашняя дирекция держалась очень хорошей традиции; давать на Масленице в пятнадцать спектаклей лучшие наши пьесы старого репертуара и то, что шло самого ценного за зиму из новых вещей – драматических и балетных.

Для приезжих это было чистым кладом.

И вышло так, что заезжий гимназист, попав на Масленицу в Москву, мог видеть Щепкина в трех его «коронных» ролях – городничего, Кочкарева и Фамусова; Садовского в Под-

колесине, Осипе и Большове («Не в свои сани не садись»), Сергея Васильева, Шуйского, Степанова, Немчинова, Живокини, Васильеву, Косицкую, Сабурову, Акимову, Львову-Синецкую, Орлову.

Такого заряда хватило бы на несколько лет. И, конечно, в этом первоначальном захвате сценического творчества и по репертуару и по игре заложено было ядро той скрытой писательской *тяги*, которая вдруг в конце 50-х годов сказала в замысле комедии и толкнула меня на путь писателя.

И мог ли этот нижегородский гимназист мечтать, что в этом самом Малом театре, куда он попал на Масленице 1853 года, через восемь всего лет, в декабре 1861 года, он будет раскладываться из министерской ложи публике на первом представлении «Однودворца», в бенефис Садовского, игравшего главную роль.

И с Островским как писателем я как следует познакомился только тогда в Большом театре, где видел в первый раз «Не в свои сани не садись». В Нижнем мы добывали те книжки «Москвитянина», где появлялся «Банкрут»; кажется, и читали эту комедию, но она в нас хорошенько *не вошла*; мы знали только, что ею зачитывалась вся Москва (а потом и Петербург) и что ее не позволили давать на сцене.

Никогда еще перед тем я не испытывал того особенного восхищения, какое дает общий *лад* игры, где перед вами сама жизнь. И это было в «Не в свои сани не садись» больше, чем в «Ревизоре» и в «Горе от ума», где, например, Чацкий – Полтавцев казался мне совсем не похожим на того героя, которого мы представляли себе. Да и те танцы, которые тогда очень нравились публике, отзывались чем-то слишком водевильным, скорее в угоду райку, чем более развитому зрителю. Такого трио, как три купца в первом акте комедии Островского (*первой*, по счету, попавшей на сцену), как Садовский (Большов), С.Васильев (Бородкин) и Степанов (Маломальский), больше уже не бывало. По крайней мере мне за все сорок с лишком лет не приводилось видеть. Старуха Сабурова (жена трактирщика) и Косицкая (Авдотья Максимовна) дышали бытовой правдой: первая с прибавкой тонкого комизма, вторая – с чисто народным лиризмом.

Косицкая была моя землячка. Про нее я много слышал дома. Дядя знавал ее еще крепостной помещиков Б-ных, в услужении у купчихи Долгоновой, где ее заставляли петь при гостях. Потом она, как известно, попала статисткой в театр, где ее заметил Живокини и перетащил в Москву, и в два-три года она стала любимицей публики, полуграмотная, силой таланта и необычайной искренности. Ее заставляли много играть в трагедиях и в романтических драмах, где она оставалась все же «Любашей», нижегородской горничной с порывами чувства и прекрасным голосом. Видал я ее потом в таких вещах, как «Отец и дочь» Ободовского и «Гризельда и Персиваль», и глубоко сожалел о том, что она навек не осталась русской простой девушкой, Авдотьей Максимовной, которую Ваня Бородкин спасает от срама.

Трогательно было то, что Косицкая, уже знаменитостью, когда приезжала в Нижний на гастроли, сохраняла с нами тот же жаргон бывшей «девушки». Так, она не говорила: «публика» или «зрители», а «господа дворяне», разумея публику кресел и бельэтажа. У ней срывались фразы вроде:

– Много довольна приемом господ дворян!

И это было на склоне ее карьеры, в 60-х годах, когда я, приехав раз в Нижний зимой, уже писателем, видел ее, кажется, в этой самой «Гризельде» и пошел говорить с нею в уборную.

Конец ее был довольно печальный. В последний раз я с ней встретился в «Кружке», в зиму 1866 года.

С Малым театром я не разрываю связи с той самой поры, но здесь я остановлюсь на артистах и артистках, из которых иные уже не участвуют в моих дальнейших воспоминаниях, с тех пор как я сделался драматическим писателем.

Прежде всего, конечно, Михаил Семенович Щепкин. Я видал его позднее всего только в двух пьесах: в «Свадьбе Кречинского» (роль Муромцева) и в пьесе, переделанной из комедии Ожье «Зять господина Пуарье» под русским ее заглавием: «Тесть любит честь – зять любит взять».

Но в истории русского сценического искусства Михаил Семенович – творец двух лиц: Фамусова и городничего, и, в меньшей степени, Кочкарева в «Женитьбе». Во всех трех этих «созданиях» я его видел тогда юношей, уже значительно подготовленным к высшим запросам от театра и игры актера.

Это была последняя полоса его игры, когда он, уже пожилым человеком, еще сохранял большую артистическую энергию. Случилось так, что я его в Нижнем не видал (и точно не знаю, ездил ли он к нам, когда меня уже возили в театр) и вряд ли даже видал его портреты. Тогда это было во сто раз труднее, чем теперь.

Вся его короткая, полная (но не очень толстая) фигура, круглое лицо с сильной гримировкой, особого рода подвижность, жесты рук, головы, мимика рта и глаз – все это отзывалось чем-то необычным. Голос был непохожий и на интонации тогдашних актеров из коренных москвичей. Полная простота тона и *вкусная* – если можно так определить – дикция, с легким стариковским оттенком артикуляции, говорили о чем-то особенном. М.С. был и оставался «хохлом» более, чем великороссом. Мне рассказывал покойный Павел Васильев (уже в начале 60-х годов, в Петербурге), что когда он, учеником театральной школы, стоял за кулисой, близко к сцене, то ему явственно было слышно, что у Щепкина в знаменитом возгласе: «Дочь! Софья Павловна!» слышалось хохлацкое «хв», и он, хотя и не очень явственно, произносил: «Дочь! Сохвья Павловна!»

Поэтому-то он так хорош бывал в одной из своих характерных ролей в «Москале-чаривныке», а великорусских простонародных типов не создавал.

Фамусовым он был в меру и барин, и чиновник, и истый человек времени Реставрации, когда он у *своего барина* достаточно насмотрелся и наслушался господ. *Никто* впоследствии не заменил его, не исключая и Самарина, которого я так и не видал в тот приезд ни в одной его роли.

Сквозник-Дмухановский точно нарочно создан был для Щепкина. Его произношение только помогало правде и типичности создания этой фигуры. Он его играл сангвиником, без всякого умничания, не уступая другу своему Гоголю в толковании этого лица, не придавая ему символического смысла, как желал того автор «Ревизора». И все в нем дышало комизмом. Он был глубоко забавен, но не мелко смешон. И выходило так от полнейшей художнической искренности исполнения. Комизм пробивался во всем: в дикции, в минах, в походке, в жестике, в артикуляции.

До сих пор я могу еще *представить себе*: как он сидит и читает письмо в первом акте, как дрожит перед пьяным Хлестаковым, как указывает квартальным на бумажку посредине гостиной, как насккивает на квартального с подавленным криком: «Не по чину берешь!» Друг и единомышленник Гоголя сказывался и в том, как он произносил имя квартального Держиморды.

Щепкин выговаривал «Держиморда», а не «Держиморда», как произносят везде вне московского Малого театра, где щепкинская традиция, вероятно, до сих пор еще сохраняется.

Сангвинический пошиб во всем преобладал. Тогда «первый комический актер» (по номенклатуре Гоголя) действительно играл как высокий *комик*, а не как резонер, который по своему мудрит и подгоняет лицо, выхваченное из жизни, под свои личные теории, соображения, вкусы и приемы игры.

В Кочкареве я, помню, не сразу признал его, когда на сцену ввалился кругленький господин в темно-русом парике, вицмундире и в белых брюках.

Сказать ли правду? Он показался мне мало похожим на петербургского «чинуша», шумного торопыгу, балагура и свата. Для этого он уже не был достаточно молод; его тон и повадка мало отзывались тем, что можно было представлять себе, читая «Женитьбу».

Люди генерации моего дяди видали его несколько раньше в этой роли и любили распространяться о том, как он заразительно и долго хохочет перед Жевакиным. На меня этот смех не подействовал тогда так заразительно, и мне даже как бы неприятно было, что я не нашел в Кочкареве того самого Михаила Семеновича, который выступал в городничем и Фамусове.

Года брали свое. К этому времени те ценители игры, которые восторгались тогдашними исполнителями *нового* поколения, Садовским и Васильевым, – начинали уже «прохаживаться» над слезливостью Щепкина в серьезных ролях и вообще к его личности относились уже с разными оговорками, любили рассказывать анекдоты, невыгодные для него, напирая всего больше на его старческую чувствительность и хохлацкую двойственность. От одного из писателей кружка и приятелей Островского – Е.Н.Эдельсона (уже в 60-х годах) я слышал рассказ о том, как у Щепкина (позднее моей первой поездки в Москву) на сцене выпала искусственная челюсть, а также и про то, как он бывал несносен в своей старческой болтовне и слезливости.

У него с молодых лет была склонность, как у многих комиков, к чувствительным ролям, и одной из любимых его ролей в таком роде была роль в пьесе «Матрос», где он пел куплеты в патетическом роде и сам плакал. Эту роль он играл всегда в провинции и в позднейший период своей сценической карьеры.

Такого именно податливого на слезы старика я нашел в нем в ту зиму, когда с ним лично познакомился на репетиции моей драмы «Ребенок», когда мы сидели в креслах рядом и смотрели на игру воспитанницы Позняковой, которую выпустил Самарин в моей пьесе, взятой им на свой бенефис.

Но и тогда (то есть за каких-нибудь три года до смерти) его беседа была чрезвычайно приятная, с большой живостью и тонкостью наблюдательности. Говорил он складным, литературным языком и приятным тоном старика, сознающего, *кто* он, но без замашек знаменитости, постоянно думающей о своем гениальном даровании и значении в истории русской сцены.

Подробности этой встречи я описал в очерке, помещенном в одном сборнике, и повторять здесь не буду. Для меня, юноши из провинции, воспитанного в барской среде, да и для всех москвичей и иногородных из сколько-нибудь образованных сфер, Щепкин был национальной славой. Несмотря на сословно-чиновный уклад тогдашнего общества, на даровитых артистов, так же как и на известных писателей, смотрели вовсе не сверху вниз, а, напротив, снизу вверх.

Типическим ценителем того времени был мой дядя, тот, кто привез меня в Москву. По времени воспитания он восходил к 20-м годам (родился в 1810 году), и от него-то я с раннего детства слышал о знаменитых актерах и актрисах, без малейшего оттенка барского пренебрежения; не только о Михаиле Семеновиче (он так его всегда и звал), но о Мочалове, о Репиной, о молодом Самарине, Садовском, даже Немчинове, и о петербургских корифеях: Каратыгине, Брянском, Мартынове, А.Максимове, Сосницком, чете Дюр, Асенковой, Гусевой, семействе Самойловых.

Мы уже гимназистами знали про то, что Щепкин водил дружбу с писателями: с Гоголем, с кружком Грановского и Белинского и с Герценом, которого мы много читали, разумеется кроме того, что он начал уже печатать за границей, как эмигрант.

Для тогдашнего николаевского общества такое положение Щепкина было важным фактом, и фактом, вовсе не выходящим из ряда вон. Я на это напирал. Талант, личное достоинство ценились *чрезвычайно* всеми, кто сколько-нибудь выделялся над глухим и закорюзлым обывательским миром.

В моем лице – в лице гимназиста из провинции, выросшего в старопомещичьем мире, – это сказывалось безусловно. Я уже был подготовлен всей *жизнью* к тому, чтобы ценить таких людей, как Щепкин, и всякого писателя и артиста, из какого бы звания они ни вышли.

Сергея Васильева я только тогда и увидел в такой бытовой роли, как Бородкин. Позднее, когда приезжал студентом домой, на ярмарочном театре привелось видеть его только в водевилях; а потом он ослеп к тому времени, когда я начал ставить пьесы.

Бородкин врезался мне в память на долгие годы и так восхищал меня обликом, тоном, мимикой и всей повадкой Васильева, что я в Дерпте, когда начал играть как любитель, создавал это лицо прямо по Васильеву. Это был единственный в своем роде бытовой актер, способный на самое разнообразное творчество лиц из всяких слоев общества: и комик и почти трагик, если верить тем, кто его видал в ямщике Михаиле из драмы А.Потехина «Чужое добро впрок не идет».

К нему привлекала также и блестящая, игривая веселость, какая бывает только у прекрасных французских комиков. Самая некрасивость его лица, голос немного в нос – все это превращалось в привлекательные особенности. По богатству мимики и комических интонаций он не уступал ни Садовскому, ни Живокини.

Кроме роли Бородкина, Сергей Васильев выступал в ту памятную мне Масленицу еще в одном типичнейшем своем создании – почтмейстер Шпекин.

Роль – очень небольшая; но он действительно «создавал» нечто тонко-юмористическое, без шаржа в гримировке, тоне, жестах. Это был немножко чопорный, но благодушно настроенный гоголевский чиновник, делающий себе из привычки вскрывать письма постоянное умственное развлечение.

Надо было видеть выражение его лица, усмешку рта и глаз и слышать его интонации, когда он рассказывает городничему о том, как описывается торжество, где стоит знаменитая фраза – «штандарт скачет».

Только истинно артистическая натура способна была на подобное разнообразие в сценическом воспроизведении фигур, до такой степени непохожих одна на другую, как Шпекин и Ваня Бородкин.

Впоследствии (как я заметил выше), приезжая из Казани и Дерпта на вакацию, я видал Васильева на ярмарке в Нижнем и в Москве, но в водевилях.

Ранняя слепота свела его со сцены, и этот блистательно-веселый комик кончал жизнь в глубокой печали заживо погребенного для сцены слепца.

Садовский и тогда уже считался «первой силой» труппы, *после* Щепкина, а для его почитателей не только *рядом* с Щепкиным, но даже *над* ним. Если за Щепкиным значилась неувядаемая слава быть создателем Фамусова и городничего, то Садовский, уже и в зиму 1852–1853 года, появлялся в разнообразных созданиях – в Осипе, Подколесине, купце Большове. Гоголя он сочетал – и в таком разнообразном воспроизведении – с Островским, а типы Островского Щепкину не удавались позднее в такой же степени. И если взять два крупнейших лица из театра Гоголя – городничего и Подколесина, то трудно было тогда и знатокам театра решить, кто стоял *выше* как художник-исполнитель: Щепкин или Садовский?

Для нас, провинциалов, Садовский был еще что-то совсем новое, хотя он уже и состоял к тому времени в труппе Малого театра более десяти лет.

Но газеты занимались тогда театром совсем не так, как теперь. У нас в доме, правда, получали «Московские ведомости»; но читал их дед; а нам в руки газеты почти что не попадали. Только один дядя, Павел Петрович, много сообщал о столичных актерах, говаривал мне и о Садовском еще до нашей поездки в Москву. Он его видел раньше в роли офицера Анучкина в «Женитьбе». Тогда этот офицер назывался еще «Ходилкин».

От игры Садовского впервые испытал я впечатление чего-то *могучего*. Чувствовался *кряж* натуры, прирожденного богатейшего таланта. Все тут было *свое*, ниоткуда не заимствованное. Каждая интонация, всякий жест, взгляд, усмешка, поворот головы говорили о бытовой почве.

И все это дышало необычайной простотой и легкостью выполнения. *Ни малейшего усилия!* Один взгляд, один звук – и зала смеется. Это у Садовского было в блистательном развитии и тогда уже в ролях Осипа и Подколесина. Такого героя «Женитьбы» никто позднее не создавал, за исключением, быть может, Мартынова. Я говорю «быть может», потому что в Подколесине сам никогда его не видал.

Сохранилось все это у Садовского и даже достигло полной виртуозности и позднее, как, например, в роли Расплюева... Одно его появление и первый вздох уже настраивали всю залу на особый комический лад.

И тем разительнее выходил контраст между Подколесиным и Большовым. Такая бытовая фигура, уже без всякой комической примеси, появилась решительно в первый раз, и создание ее было делом совершенно нового понимания русского быта, новой полосы интереса к тому, что раньше не считалось достойным художественной наблюдательности.

А в области чистого комизма Садовский представлял собою полнейший контраст с комизмом такого, например, прирожденного «буффа», каков был давно уже тогда знаменитый любимец публики В.И.Живокини. В нем текла итальянская кровь. Он заразительно смешил, но на создание *строго бытовых лиц* не был способен, хотя впоследствии и сыграл немало всяких купеческих ролей в репертуаре Островского.

Случилось так, что я видел его тогда два раза и... в том числе в *опере!* Он играл труса и хвастуна Фрелафа в «Аскольдовой могиле». А в «Горе от ума» – Репетилова.

О нем я в 80-х годах написал воспоминания в одном сборнике после многолетнего личного знакомства и участия его в моем «Однودворце».

Его ближайший сверстник и товарищ по театральному училищу и службе на Малом театре, П.Г.Степанов, был создатель роли трактирщика Маломальского в том бесподобном трио, о котором я говорил выше.

В свое время он считался «второй силой», как нынче и официально выражаются, а стоил многих теперешних «первых сюжетов» и даже превосходил их.

Он с самых молодых лет отличался тем, что нынче называют «гримом» и вообще схватывателя типичных черт, в особенности пожилых лиц и стариков. Когда было разрешено давать только третий акт «Горя от ума», ему поручили роль князя Тугоуховского, в которой я его и увидел впервые, до представления «Не в свои сани не садись». Позднее, уже во второй половине 60-х годов, он сам мне рассказывал, как император Николай видел его в этой роли и вызвал потом играть ее в Петербург. Другой его такой же типичной ролью из той же эпохи было лицо старого Фридриха II (в какой-то переводной пьесе), и он вспоминал, что один престарелый московский барин, выдавший короля в живых, восхищался тем, как Степанов схватил и физическое сходство, и всю повадку великого «Фрица».

Ту же типичность и рельеф замысла и выполнения выказывал он в гоголевском Яичнице. Эта роль оставалась одною из его «коронных» ролей.

В таких старых актерах было что-то особенно прочное, *веское*, значительное и жизненное, чего теперь не замечается даже и в самых даровитых исполнителях. И по бытовому репертуару Степанов среди своих сверстников один и подошел по тону и говору. Задолго до создания лица Маломальского он уже знаменит был тем, как он играл загулявшего ямского старосту в водевиле «Ямщики».

С.В.Шуйский к зиме 1852–1853 года встал уже впереди, рядом с Васильевым и Самариным; из водевильного актера очень скоро превратился в тонкого художника с разнообразным и гибким дарованием.

Я его видел тогда в трех ролях: Загорецкого, Хлестакова и Вихорева («Не в свои сани не садись»). Хлестаков выходил у него слишком «умно», как замечал кто-то в «Москвитянине» того времени. Игра была бойкая, приятная, но без той особой ноты в создании наивно-пустейшего хлыща, без которой Хлестаков не будет понятен. И этот оттенок впоследствии (спустя

с лишком двадцать лет) гораздо более удавался М.П.Садовскому, который долго оставался нашим лучшим Хлестаковым.

Загорецкий являлся у Шуйского высокохудожественной фигурой, без той несколько водевильной игривости, какую придавал ей П.А. Каратыгин в Петербурге. До сих пор, *по прошествии с лишком полвека*, движется предо мною эта суховатая фигура в золотых очках и старомодной прическе, с особой походочкой, с гримировкой плутоватого москвича 20-х годов, вплоть до малейших деталей, обдуманых артистом, например того, что у Загорецкого нет собственного лакея, и он отдает свою шинель швейцару и одевается в сторонке.

Роль Вихорева, несложная по авторскому замыслу и тону выполнения, выходила у него с тем чувством меры, которая еще более помогала удивительному ансамблю этой, по времени первой на московской сцене, комедии создателя нашего бытового театра.

Шумского 60-х годов я лично зазнал уже как драматический писатель; но об этом в другом месте.

Трех женщин Малого театра, кроме Е.Васильевой (Она была тогда еще девица Лаврова и выступала в Софье в «Горе от ума»), помню я из этой поездки: старуху Сабурову, Кавалерову и только недавно умершую П.И.Орлову.

С Сабуровой (мать петербургской актрисы) ушли особенная своеобразие, прекрасная московская дикция, комизм без шаржа и значительность всего пошиба игры. Одинаково хороша была она и в московской старой барыне (из «Горя от ума»), и в жене трактирщика Маломальского.

Кавалерова и тогда уже считалась *старухой* не на одной сцене, а и в жизни; по виду и тону в своих бытовых ролях свах и тому подобного люда напоминала наших дворовых и мещанок, какие хаживали к нашей дворне. Тон у ней был удивительно правдивый и типичный. *Так* теперь уже разучаются играть комические лица. Пропала наивность, непосредственность; гораздо больше подделки и условности, которые мешают художественной цельности лица.

П.И.Орлова держала тогда – уже на склоне карьеры – амплу светских дам, отличалась представительностью и приятной дикцией. Через два года она уже попала в сестры милосердия во время Севастопольской кампании.

Итак, театр всего больше захватил меня, и вообще Москва показала себя «столицей» всего больше в театральных залах. Ничего подобного провинция не могла дать. В особенности зала Большого театра и такие зрелища, как балеты, тогда увлекавшие москвичей, с такими балеринами, как Санковская и Ирка-Матьяс. Совсем столицей обдал меня и последний спектакль тогдашней казенной французской труппы, который обыкновенно давался в среду на Масленой, после чего русская труппа овладевала уже театром до понедельника Великого поста и утром и вечером.

Меня взяла в ложу бельэтажа тетка со стороны отца, и я изображал из себя молодого человека во фраке. Тут было все тогдашнее светское общество. В литерной ложе дочь генерал-губернатора, графиня Нессельроде, тогдашняя львица, окруженная всегда мужчинами, держала себя совершенно по-домашнему, так же как и ее кавалеры.

Труппа была весьма и весьма средняя, хуже даже теперешней труппы Михайловского театра. Но юный фрячник-гимназист седьмого класса видел перед собою подлинную французскую жизнь, слышал совсем не такую речь, как в наших гостиных, когда в них говорили по-французски. Давали бульварную мелодраму «Кучер Жан», которая позднее долго не сходила со сцены Малого театра, с Самариным в заглавной роли, под именем «Извозчик».

И не для меня одного театральная Масленица сезона 1852–1853 года была прощальной. На первой же неделе поста сгорел Большой театр, когда мы были на обратном пути в Нижний.

В Малом театре на представлении, сколько помню, «Женитьбы» совершенно неожиданно дядя заметил из кресел амфитеатра моего отца. С ним мы не видались больше четырех лет. Он ездил также к выпуску сестры из института, и мы с дядей ждали его в Москву вместе с нею и

теткой и ничего не знали, что они уже третий день в Москве, в гостинице Шевалдышева, куда он меня и взял по приезду наших дам из Петербурга.

Мои московские впечатления стали с этого дня еще разнообразнее. Он возил меня к своим родным и знакомым, и я вкусил немного тогдашней московской жизни в домах, где принимали.

Чего-нибудь особенно столичного я не находил. Это был тот же почти тон, как и в Нижнем, только побойчее, особенно у молодых женщин и барышень. Разумеется, я обегал вопросов: учусь я или уже служу? Особого стеснения от того, что я из провинции, я не чувствовал. Я попадал в такие же дома-особняки, с дворовой прислугой, с такими же обедами и вечерами. Слышались такие же толки. И моды соблюдались те же.

Я это привожу опять-таки затем, чтобы показать, как тогда замечался и в губернских городах известный уровень культуры, и ничто такое, что входило в интересы тогдашнего общества в Москве, уже не удивляло особенной новизной юного гимназиста.

В литературные кружки мне не было случая попасть. Ни дядя, ни отец в них не бывали. Разговоров о славянофилах, о Грановском, об университете, о писателях я не помню в тех домах, куда меня возили. Гоголь уже умер. Другого «светила» не было. Всего больше говорили о «Додо», то есть о графине Евдокии Ростопчиной.

Не скажу, чтобы и уличная жизнь казалась мне «столичной»; езды было много, больше карет, чем в губернском городе; но еще больше простых ванек. Ухабы, грязные и узкие тротуары, бесконечные переулки, маленькие дома – все это было, как и у нас. Знаменитое катанье под Новинским напомнило, по большому счету, такое же катанье на Масленице в Нижнем, по Покровке – улице, где я родился в доме деда. Он до сих пор еще сохранился.

Барский строй жизни с военным оттенком замечал я всего больше в мельканье парных саней с пристяжками, в касках и киверах тогдашних гусар и улан. Фуражек тогда не позволяли носить; а теперешняя мерлушковая шапка всех бы скандализовала, особенно на голове гвардейца. Подтянутость публики замечалась везде, и борода, кроме как у купцов, бросалась в глаза, и из-за нее приводилось иметь дело с полицией. Но в общем Масленица текла бойко, шумно и, кажется, веселее, чем в последние годы. Особенного гнета я не замечал, и вся Масленица прошла для меня, как в чаду.

Студенческие треуголки (фуражки строго преследовались) волновали меня. Я уже мечтал о скором поступлении в университет провинциальный. Тогда столичные университеты имели обаяние запретного плода. Существовал *комплект*, и каждый из нас смотрел на здешнего студента, как на счастливого.

Одним из таких счастливых оказался мой земляк Б-вин, сын председателя палаты. Он перешел сюда из Казани. Я отыскал его в плохонькой комнате, где-то на Никитской; но для меня и невзрачная студенческая «меблировка» казалась чем-то соблазнительным, и хотя мы с ним были на «ты», но я смотрел на него как на избранника.

Студентов в театрах я как-то не замечал; но на улицах видал много, особенно на Тверской, и раз в бильярдной нашей гостиницы сидел нарочно целый час, пока там играли два студента. Они прошли туда задним ходом, потому что посещение трактиров было стеснено. Оба были франтоваты, уже очень взрослые, барского тона, при шпагах.

Теперешнего вида студентов, какие встречаются по улицам Москвы сотнями, тогда не было. Самыми бедными считались казеннокоштные, но они все одевались вполне прилично и от них требовалось строго соблюдение формы.

Древняя Москва только скользнула по мне. Кремль, соборы, Чудов монастырь, Грановитая палата – все это быстро промелькнуло предо мною, но без старины Москва показалась бы только огромным губернским городом, не больше. Что-то таинственное и величавое осталось в памяти, и в этой рамке поездка в Москву получила еще большее значение в моей только что открывающейся юношеской жизни.

С этим совпало и мое свидание с сестрой после такой разлуки. Моему долгому одиночеству настал конец. Молодое существо стало рядом со мною, и я, хоть моложе ее, очутился как бы в ее руководителях.

И весь конец моего ученья, вплоть до студенчества, получил более светлый налет. Даже стало житься по-другому. В наш большой, строгий и почти безмолвный дом вошло молодое веселье. И постом мы танцевали.

С сестрой у меня сразу завязалась нежная дружба. Все мне было ново и близко в ее институтском прошлом. Шли бесконечные разговоры и рассказы. В ней я не нашел того, что тогда соединяли с понятием «институтка», – той смешной наивности и еще менее наивничанья. Она была первое время скорее застенчива в большом обществе, но без всяких странностей специфического «монастырского» оттенка. Я мог по ней изучать, какими выпускали из столичного института девушек средних талантов и среднего прилежания. Она просидела безвыездно около девяти лет в стенах здания на Фонтанке. Их учили не по-нынешнему, но довольно старательно. Кроме языков и так называемых «русских» предметов – немного естественным наукам, довольно хорошо словесности, заставляли немало писать, развивали их музыкальные способности, приучали красиво танцевать. Читали французскую и немецкую литературу на этих языках и заставляли много учить классических отрывков.

«Идей» в теперешнем смысле они не имели, книжка не владела ими, да тогда и не было никаких «направлений» даже и у нас, гимназистов. Но они все же любили читать и, оставаясь затворницами, многое узнавали из тогдашней жизни. Куклами их назвать никак нельзя было. Про общество, свет, двор, молодых людей, дам, театр они знали гораздо больше, чем любая барышня в провинции, домашнего воспитания. В них не было ничего изломанного, нервного или озлобленного своим долгим институтским сидением взаперти.

Напротив! Они не задавались «вопросами», но зато были восприимчивы ко всем веяниям жизни, с большим фондом того, что составляет душевную норму. Как девицы, выезжающие в свет, они охотно танцевали, любили дружить без излишнего кокетства, долго оставались с чистым воображением, не проявляли никаких сознательно хищнических инстинктов.

Из них весьма многие стали хорошими женами и очень приятными собеседницами, умели вести дружбу и с подругами и с мужчинами, были гораздо проще в своих требованиях, без особой страсти к туалетам, без того культа «вещей», то есть комфорта и разного обстановочного вздора, который захватывает теперь молодых женщин. О том, о чем теперь каждая барышня средней руки говорит как о самой банальной вещи, например о заграничных поездках, об игре на скачках, о водах и морских купаньях, о рулетке, – даже и не мечтали.

Не надо забывать, что тургеневские Лиза и Елена принадлежали как раз к *этой генерации*, то есть стали взрослыми девицами к половине 50-х годов.

Крепостным правом они особенно не возмущались, но и не выходили крепостницами и в обращении с прислугой привозили с собой очень гуманный и порядочный тон. Этого, конечно, не было бы, если б там, в стенах казенного заведения, поощрялись разные «вотчинные» замашки. Они не стремились к тому, что и тогда уже называлось «эмансипацией», и, читая романы Жорж Занд, не надевали на себя никаких заграничных личин во вкусе той или другой героини.

Думаю, что главное русло русской *культурной* жизни, когда время подошло к 60-м годам, было полно молодыми женщинами или зрелыми девушками этого именно этического-социального типа. История показала, что они, как сестры, жены и потом матери двух поколений, не помешали русскому обществу идти вперед.

И тут будет уместно помянуть добрым словом всех тех женщин – замужних и девиц, которые участвовали и в *нашем* умственном и нравственном *росте*. Я лично отроком и юношей до университета много им обязан. В моей тетке (со стороны матери) я находил всегда чуткую душу, необычайно добрую, развитую, начитанную, с трогательной любовью к своей больной

сестре, моей матери, и к брату Николаю, особенно с той минуты, как он был сослан в Сибирь по делу Петрашевского. Она одна могла бы служить ярким доказательством того, какие та эпоха дог ставляла личности. И она и мать моя хоть и выросли на рабовладельческих порядках, но никогда их не оправдывали. Гнет родительской власти не помешал им быть проникнутыми теплой сердечностью и в родственных связях, и ко всем, кто сближался с ними.

Мальчиком я долго был неразвязан и дик, в особенности при женщинах. Но во мне рано подметили влюбчивость и склонность к дружбе с взрослыми девицами. И те, кто умели приручить меня, охотно со мной беседовали и, может и не желая того, участвовали в моем воспитании.

У меня еще до университета, когда я уже подросток, было несколько приятельниц, старше меня на много лет. Они не довольствовались ролью конфиденток, которым я поверял свои сердечные тайны. Они давали мне книги, много рассказывали о себе и о своих впечатлениях, переписывались со мною подолгу; даже и позднее, когда я поступил в студенты.

Одна из них в особенности интересовала меня. Тут не обошлось и без некоторой влюбленности, но уже впоследствии; а сначала она меня привлекала своим умственным изяществом, даровитостью и блестящим разговором. Мы продолжали с ней дружбу и в Казани. И она была из институток, даже провинциальных, но из ряду вон.

Такая культурная гимнастика – как тогда говорили – «полировала» юношу и с таких ранних лет накопляла тот психический материал, который пригодился потом писателю.

Те месяцы, которые протекли между выпускным экзаменом и отъездом в Казань с правом поступить *без экзамена*, были полным расцветом молодой души. Все возмраставшая любовь к сестре, свобода, права взрослого, мечты о студенчестве, приволье деревенского житья, все в той же Анкудиновке, дружба с умными милыми девушками, с оттенком тайной влюбленности, ночи в саду, музыка, бесконечные разговоры, где молодость души трепетно изливается и жаждет таких же излияний. Больше это уже не повторилось.

Деревня была заключительным аккордом всех этих «откровений бытия». Она не вызвала тогда в нас того, что она теперь может давать юноше горького и тяжелого.

Слова мои покажутся парадоксом... Тогда царило крепостничество, а теперь мужик вольный. Конечно! Но власть чувствовалась тогда всеми: и нами не меньше, чем мужиками. Это была цепь из разных степеней государственной, общественной и домашней иерархии.

Но то, что мы тогда видели на деревенском «порядке» и в полях, не гнело и не сокрушало так, как может гнесть и сокрушать теперь. Народ жил исправно, о голоде и нищенстве кругом не было слышно. Его не учили, не было ни школы, ни фельдшера, но одичалости, распутства, пропойства – ни малейшего. Барщина, конечно, но барщина – как и мы понимали – не «чересчурная». У всех хорошо обстроены дворы, о «безлошадниках» и подумать было нельзя. Кабака ни одного верст на десять кругом.

«Крепость» только поднимала в нас чувство жалости и к крестьянам и к дворовым. Но повторяю: хищно-сословного и даже просто насмешливо-пренебрежительного взгляда на деревню, на мужиков, баб, ребятишек мы не имели никакого.

И во мне, и в сестре моей, и в наших приятельницах жило, напротив, всегдашнее ласковое чувство к девочкам, к мальчикам, к молодухам и старухам. Мы ходили в лес и поле с ребятами собирать грибы, ягоды, цветы, не испытывая никакого брезгливо-дворянского чувства.

И сестра и я сохраняли интимную связь с нашими кормилицами и знали своих молочных братьев и сестер. И прямо от деревенских, и через дворовых мы узнавали множество вещей про деревенскую жизнь, помнили в лицо мужиков из дальних деревень, их прозвища, их родство с дворовыми.

Все это также послужило писателю. Он не сделался тенденциозным народником, но сохранил до старости неизменную связь с народом и убежден в том, что его быт, душа, общезительные формы достойны художнического изображения.

Только ни мы, ни вокруг нас никто, даже из самых развитых людей, никогда бы не подумал искать какого-то откровения в каких-нибудь «босях», пропойцах и бродягах, якобы изображающих собою новый мир идей и упований.

Бродяги были и тогда, только мы их не видали. *Босьяков*, в теперешнем смысле, кругом не было, да и не могло скопиться в таком количестве, как теперь. За все мое детство и юношеские годы в гимназии я никогда не слышал, чтобы водились в городе с тридцатью тысячами жителей отщепенцы в нынешнем вкусе, герои трущоб из «интеллигентного» класса, вперемежку с простонародьем. Пили и даже спивались, но ни класса, ни даже групп такого сорта положительно не водилось. Были чудачки, полоумные или юродивые, вроде Миши Бидарева, который ходил по морозу босиком в длинной рубашке. Было, конечно, профессиональное нищенство, но «босьяка» не было в нынешнем смысле, и диким представилось бы нам, искавшим также идеалов, возводить алкоголиков, контрабандистов, простых воришек или бездомных бродяг в особый класс носителей социальной правды!

Бурлаков мы знали и жалели их за тяжелую службу, когда все на Волге еще двигалось «ляжкой» и пароходы *бегали* по ней всего каких-нибудь три-четыре года, но и бурлак был «крестьянин», наш мужичок из приволжских оброчных деревень. На нем не лежало никакого босьяческо-го клейма. «Бурлаки» Репина еще не сложились тогда. Они были еще не сбродом, а более или менее исправными крестьянами с дешевым и тяжелым заработком.

Без всякого сословного высокомерия мы не могли бы тогда признать за «босьяками» какой-то особой прерогативы, потому что мы уже воспитывали в себе высокое почтение к знанию, таланту, личным достоинствам. Любой товарищ по гимназии – сын мещанина из вольноотпущенных – становился в наших глазах не только равным, но и выше нас потому, что он отлично учится, умен, ловок, хороший товарищ. А превратись он в «босьяка», мы бы от этого одного не преисполнились к нему никогда особенным сочувствием или почтением.

Перед тем как меня снаряжали в студенты, я прощался с моим родным городом, когда мы вернулись из деревни к августу, к ярмарочному времени. И весной, когда я гулял с сестрой по набережной и нашему «Откосу», и теперь на прощанье я подолгу стаивал на вышке, откуда видно все Заволжье, и часть ярмарки, и Печерский монастырь, и слева Егорьевская башня кремля.

Волга и нижегородская историческая старина, сохранившаяся в тамошнем кремле, заложили в душу будущего писателя чувство связи с родиной, ее живописными сторонами, ее тихой и истовой величавостью. Это сделалось само собою, без всяких особых «развиваний». Ни домашние, ни в гимназии учителя, ни гувернеры никогда не водили нас по древним урочищам Нижнего, его церквам и башням с целью разъяснить нам, укреплять патриотическое или художественное чувство к родной стороне. Это сложилось само собою.

Попадая в наш собор, особенно в его крипту, где лежат останки удельных князей нижегородских, я еще мальчиком читал их имена на могильных плитах, и воображение рисовало какие-то образы. Спрашивалось, бывало, у самого себя: а каков он был видом, вот этот князь, по прозвищу «Брюхатый», или вон тот, прозванный «Тугой лук»?

Имена Минина и Пожарского всегда шевелили в душе что-то особенное. Но на них, к сожалению, был оттенок чего-то официального, «казенного», как мы и тогда уже говорили. Наш учитель рисования и чистописания, по прозвищу «Трошка», написал их портреты, висевшие в библиотеке. И Минин у него вышел почти на одно лицо с князем Пожарским.

И староцерковное и гражданское зодчество привлекало: одна из кремлевских церквей, с царской вышкой в виде узкого балкончика, соборная колокольня, «Строгановская» церковь на Нижнебазарской улице, единственный каменный дом конца XVII столетия на Почайне, где останавливался Петр Великий, все башни и самые стены кремля, его великолепное положение на холмах, как ни у одной старой крепости в Европе. Мы все знали, что строил его итальянский зодчий по имени *Марк Фрязин*. И эта связь с Италией Возрождения, еще не сознаваемая

нами, смутно чувствовалась. Понятно было бы и нам, что только тогдашний европеец, земляк Микеланджело, Браманте и других великих «фряжских» зодчих, мог задумать и выполнить такое сооружение.

Башни были все к тому времени обезображены крышами, которыми отсекали старинные украшения. Нам тогда об этом никто не рассказывал. Хорошо и то, что учитель рисования водил тех, кто лучше рисует, снимать с натуры кремль и церкви в городе и Печерском монастыре.

Все, что у меня есть в «Василии Теркине» в этом направлении, вынесено еще из детства. Я его делаю уроженцем приволжского села, бывшего княжеского «стола» вроде села Городец, куда я попал уже больше сорока лет спустя, когда задумывал этот роман.

Многие особенности своего и общепсихического и писательского склада я объясняю тем, что родился в *нагорной* местности. Нижний по положению – исключительный город. Он не только стоит так высоко, как ни один *приречный* город в Европе из мне известных, не исключая Парижа, Пешта, Белграда и Гейдельберга; но и весь изрыт балками, ущельями, крутыми подъемами и спусками.

С детства «Гребешок» был для нас, мальчиков, любимейшим пунктом прогулок. Туда сладко было «закатиться», особенно тайком, без гувернерского надзора. Это – вышка над самым ярмарочным мостом, известная всем, кто побывал «у Макария». Теперь все это опошлилось увеселительным заведением и подъем совершается по трапу; а тогда это было настоящее восхождение, вроде как на Альпы – для детской фантазии. Путь лежал от нас с Покровки по Лыковой дамбе мимо церкви Жен-Мироносиц, потом опять кверху, мимо церквей Вознесения и Похвалы Богородицы, и, оставляя вправо спуск по Похвалинскому съезду, а слева балки, где стояли деревянные жандармские казармы, вы по переулочкам попадали к тому «взлобью», которое и был «Гребешок», где потом при губернаторе Муравьеве (бывшем декабристе) водружили довольно-таки безобразную башню.

В нашу кровь и западало что-то горное: любовь к крутизнам и высоким подъемам, к оврагам, густо заросшим лопухом и крапивой, которые наше воображение превращало в целые леса, к отвесным почти «откосам», где карабкались козы – белые и темношерстные: истое нижегородское животное, кормилица мелкого люда. Коз мы любили особенной какой-то любовью, и когда я в Неаполе в 1870 году увидел их в таком количестве, таких умных и прирученных, я испытывал точно встречу с чем-то родным.

Надо было все это бросить и ехать в Казань. И грустно и сладко было. Меня проводили на пароход, первый пароход, на какой я вступал и пускался в путь, не по одной только Волге, а в долгую дорогу ученья – в аудитории и в жизни, у себя и в чужих землях.

В Казань я поторопился. Явившись к ректору – астроному Симонову, я получил от него разрешение вернуться на весь август месяц. Я был принят и мог дома «достраивать» себе студенческую форму и кутнуть на ярмарке.

Но кутнуть не пришлось: хозяйничала холера. И я заболел, хотя и легкой формой: «холе-риной», как тогда называли.

И тут окончательно я выбрал себе не просто факультет, а «разряд», о котором в гимназии не имел понятия. Моя мать, узнав, что я подал прошение о поступлении в «камералисты», почему-то не была довольна, видя в этом неодобрительную изменчивость. Хотел быть юристом, а попал на какие-то «камералы», о которых у нас дома никто, кажется, не имел вполне ясного представления.

А этот скорый выбор сослужил мне службу, и немалую. Благодаря энциклопедической программе камерального разряда, где преподавали, кроме чисто юридических наук, химию, ботанику, технологию, сельское хозяйство, я получил вкус к естествознанию и незаметно прошел в течение восьми лет, в двух и даже трех университетах, полный цикл университетского знания по целым трем факультетам с их разрядами.

Весьма вероятно, что поступи я в «юристы» – это повело бы меня на службу, о чем мечтали и мои домашние, и не позволило бы так долго и по такой обширной программе умственно развивать себя.

Какие же выводы можно сделать из того преддверия в жизнь, через какое прошел будущий «бытописатель» русского общества?

Может, кому и не особенно понравятся эти выводы, но я не могу их не привести здесь.

Без той общей культурности, в воздухе которой я рос и воспитывался, нельзя было получить известных предрасположений, помимо вопроса о личной даровитости.

Тогдашний *николаевский* Нижний, домашний быт, гимназия, товарищи, гувернеры, общество, его вкусы и общежительность, театр, музыка, общий тон дали *более положительных, чем отрицательных результатов*.

Гнет правительственных порядков, крепостного права и домашних строгостей скорее помогал народжению в нас *освободительных* чувств и настроений.

Закорузло-сословных, хищнических и развращающих навыков и замашек мы не вынесли, по крайней мере, лучшие из нас.

Идея науки, обаяние университета, мечта о высшем образовании наполняли многих из нас. Теперешнего карьеризма и жуирства, в самых юных экземплярах, мы не знали.

Разночинский быт, деревня, дворня, поля, лес, мужики, даже барские забавы, вроде, например, псовой охоты (см. рассказ мой «Псарня»), воспитали во мне лично то сочувственное отношение к родной почве, без которого не сложился бы писатель-художник.

Наконец, прошлое родного края, исторические памятники, Волга, ее берега, живительный воздух ее высот и урочищ поддерживали особые настроения, опять-таки в высокой степени *благоприятные* для народжения будущего писателя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Казань в 1850 годы-Казанский университет-Университетские профессора-В Казанских гостиницах-Балакирев-Театр-Милославский-Амурные галантности-Студенческие нравы-Гончаров-Планы в Дерпт-Бутлеров-В родной Анкудиновке-Усадьба отца-Возвращение в Нижний Новгород

Два с лишком года моего казанского студенчества для будущего писателя не прошли даром; но больше в виде *школы жизни*, чем в прямом смысле широкого развития, особенно такого, в котором преобладали бы литературно-художественные интересы.

Вся вторая треть романа «В путь-дорогу» (книга третья и четвертая) полна моих личных испытаний и очерков студенческого быта; но *автобиографический* характер и в первой трети, и в этой (так же, как и в последней трети) значительно изменен. Герой его, гимназист, а потом студент Телепнев – иначе провел свое детство и отрочество; его первая любовь, в гимназии, и его светская интрига в Казани созданы автором. Но почти все остальное, что есть в этой казанской трети романа, извлечено было из личных воспоминаний, и, в общем, ход *развития* героя сходен с тем, через что и я проходил.

Казань как город, как пункт тогдашней культурной жизни приволжского края, уже не могла быть для меня чем-нибудь внушительным, невиданным. Поездка в Москву дала мне запас впечатлений, после которых большой губернский город показался мне таким же Нижним, побойчее, пообширнее, но все-таки провинцией.

Положение города на реке менее красиво; крепость по живописности хуже нашего кремля; историческая татарская старина сводилась едва ли не к одной Сумбекиной башне. Только татарская часть города за рекой Булаком была своеобразнее. Но тогда и я, и большинство моих товарищей не приобрели еще вкуса к этнографии. Это не пошло дальше двух-трех прогулок по тем улицам, где скупилось татарское население, где были их школы и мечети, лавки, бани.

Привлекал *университет*, и прежде всего потому, что он для нас являлся символом нашего освобождения от запретов и зависимости жизни «малолетков», от унижительного положения школьников, от домашнего надзора, хотя в последнее полугодие я и дома состоял уже почти что на правах взрослого.

Университет – главный корпус и здания на дворе с памятником Державину в тогдашнем античном стиле – все-таки имел в себе что-то, не похожее на нашу гимназию. От него «пахло» наукой, а от аудиторий мы ждали еще неиспытанных умственных усазд.

Но сразу после поступления, когда мы облеклись в желанную форму, с треугольной *шляпой* и *шпагой*, встал перед нами полицейский надзор в виде власти инспектора, тогда вершителя судеб студенчества не только казенного но и своекоштного – две довольно резкие категории, на какие оно тогда разделялось.

Нас уже пугали старые студенты из земляков этим «всесильным Василием Ивановичем», прозванным давно хлестаковской кличкой Земляники и даже «кувшинным рылом». До представления инспектору мы уже ходили заводить знакомство с его унтером и посыльным «Демкой» – вестником радостей и бед. Он приносил повестки на денежные пакеты, и он же требовал к «инспектору», что весьма часто грозило крупной неприятностью. Карцер тогда постоянно действовал, и плохая отметка в поведении могла вам испортить всю вашу студенческую карьеру.

Ректора никто не боялся. Он никогда не показывался в аудиториях, ничего сам не читал, являлся только в церковь и на экзамены. Как известный астроном, Симонов считался как бы

украшением города Казани рядом с чудачком, уже выживавшим из ума, – помощником попечителя Лобачевским, большой математической величиной.

Попечитель произнес нам речь вроде той, какую Телепнев выслушал со всеми новичками в актовом зале. Генерал Молоствов был, кажется, добрейший старичок, любитель музыки, приятный собеседник и пользовался репутацией усердного служителя Вакха. Тогда, в гостиных, где французили, обыкновенно выражались о таких вивёрах: «il leve souvent le coude» (он часто закладывает за галстук).

От всего этого начальства не исходило на нас никакого обаяния. Это было нечто вроде наших гимназических властей, только повыше рангом. Отношение в студенчестве ко всем этим лицам было насмешливое, вовсе не почтительное, разумеется, про себя; к инспектору так и прямо враждебное.

Но я не знаю, был ли этот обер-полицейский так уже антипатичен, если посмотреть на него с «исторической» точки зрения, взяв в расчет тогдашний «дух» в начале 50-х годов, то есть в период все той же реакции, тянувшейся с 1848 года.

Грозный «Василий Иванович» (по фамилии Ланге) смахивал на чиновника, какими тогдашние губернские города были полны: вицмундирная пара, при узких брюках, орден на шее, туго накрахмаленная манишка, прическа с височками рыжеватого парика, бритое, начальническое лицо и внушительный тон в нос без явного немецкого акцента, но с какой-то особой «оттяжкой». Он был из военных, перешедших в гражданскую службу, кажется, из какого-то специального рода оружия, сапер или военных инженеров. Оставаясь в лютеранской вере, стоял неизменно впереди студентов в церкви на всех службах; и когда успевал посещать кирку – мы не знали. Нельзя сказать, чтобы он возмущал грубостью; больше вызывал он неприязнь своей чиновничьей выправкой и нежеланием снизойти до более мягких и доступных приемов. Строгости касались ношения формы, хождения к обедне, надзора в театрах, посещения трактиров.

Но известно было, что он с *казенными* обходился мягче, заглядывал запросто в столовую, выслушивал их просьбы, доставлял им и удовольствия, вроде даровых посещений концертов.

В сущности, инспекторский надзор с его «субами», которых в грош не ставили, не проникал в глубь студенческой жизни. Домашнего соглядатайства не было, и под внешней подтянутостью держались довольно-таки дикие нравы – пьянство, буйство, половая распущенность. И посещение лекций не состояло ни под чьим контролем. Были круглые лентяи, по полугодиям не ходившие на лекции, никаких записываний субами не водилось, ни переключек, ни отметок, какие производили так недавно «педеля». О педелях никто не имел и понятия, разве по рассказам о дерптских порядках, откуда их, в другие времена, и заимствовали.

Поступив на «камеральный» разряд, я стал ходить на одни и те же лекции с юристами первого курса в общие аудитории; а на специально камеральные лекции, по естественным наукам, – в аудитории, где помещались музеи, и в лабораторию, которая до сих пор еще в том же надворном здании, весьма запущенном, как и весь университет, судя по тому, как я нашел его здания летом 1882 года, почти тридцать лет спустя.

Одна из профессорских фигур, которая сразу заинтересовала меня своей внешностью, была фигура худошавого брюнета, в черном пальто и высокой шляпе с трауром. Он поднимался с площадки наверх, где помещалось правление.

– Это Мейер! – назвал мне кто-то с особым выражением.

Знаменитого *цивилиста* мне не привелось слушать ни на первом, ни на втором курсе: гражданского права нам, камералистам, не читали. Позднее он перешел в Петербургский университет, где и сделался его украшением.

Он худошавым лицом нервного брюнета и всем своим душевным складом и тоном выделялся, как оригинальная и тонкая личность. Мы, «камералы», знали, что он нас не очень жалует, считая какими-то незаконными чадами юридического факультета. Юристы его побаи-

вались и далеко не все хорошо усваивали себе его лекции. Он был требователен и всячески подтягивал своих слушателей, заставлял их читать специальные сочинения, звал к себе на беседы.

Для нас, новичков, первым номером был профессор русской истории Иванов, родом мой земляк, нижегородец, сын сельского попа из окрестностей Нижнего. В его аудитории, самой обширной, собирались слушатели целых трех разрядов и двух факультетов.

Как и герой романа «В путь-дорогу», я впервые услышал его зычный возглас «Милостивые государи!», который так ласкал наш слух сознанием, что мы не мальчишки, а взрослые слушатели, которым надо говорить «милостивые государи!»

Чисто камеральных профессоров на первом курсе значилось всего двое: ботаник и химик. Ботаник Пель, по специальности агроном, всего только с кандидатским дипломом, оказался жалким лектором, и мы стали ходить к нему по очереди, чтобы аудитория совсем не пустовала. Химик А.М.Бутлеров, тогда еще очень молодой, речистый, живой, сразу делал свой предмет интересным, и на второй год я стал у него работать в лаборатории.

Кроме Мейера у юристов, Аристова, читавшего анатомию медикам, и Киттары, профессора технологии, самого популярного у камералистов, никто не заставлял говорить о себе как о чем-то из ряда вон. Не о таком подъеме духа мечтали даже и мы, «камералы», когда попали в Казань.

Того обновления, о каком любили вспоминать люди 40-х годов, слушавшие в Москве Грановского и его сверстников, мы не испытывали. Разумеется, это было ново после гимназии; мы слушали лекции, а «не заучивали только параграфы учебников; но университет не захватывал, да и свободного времени у нас на первом курсе было слишком много. Вряд ли среди нас и на других факультетах водились юноши с совершенно определенными, высшими запросами. Лучшие тогдашние студенты все-таки были не больше, как старательные ученики, редко шедшие дальше записывания лекций и чтения тех скудных пособий, какие тогда существовали на русском языке.

По некоторым наукам, например хотя бы по химии, вся литература пособий сводилась к учебникам Гессе и француза Реньо, и то только по неорганической химии. Языки знал один на тридцать человек, да и то вряд ли. Того, что теперь называют „семинариями“, писания рефератов и прений, и в заводе не было.

Созывали нас на первом курсе слушать сочинения, которые писались на разные темы под руководством адъюнкта словесности, добродушнейшего слависта Ровинского. Эти обязательные упражнения как-то не прижились. Во мне, считавшемся в гимназии „сочинителем“, эти литературные сборища не вызвали особенного интереса. У меня не явилось ни малейшей охоты что-нибудь написать самому или обратиться за советом к Ровинскому.

Вообще, словесные науки стояли от нас в стороне. Посещать чужие лекции считалось неловким, да никто из профессоров и не привлекал. Самый речистый и интересный был все-таки Иванов, который читал нам *обязательный* предмет, и целых два года. Ему многие, и не словесники, обязаны порядочными сведениями по историографии. Он прочел нам целый курс „пропедевтики“ с критическим разбором неписанных и письменных источников.

О профессор словесности Буличе мы не имели никакого ясного представления. Филологи-классики, профессора восточных языков – все это входило в область каких-то более или менее „ископаемых“. Исключение делали для известного в то время слависта В.И.Григоровича, и то больше потому, что он пользовался репутацией чудака и вся Казань рассказывала анекдоты о его феноменальной рассеянности. А адъюнкт всеобщей истории Славянский, которого звали все „Мишенька“, приобрел популярность своей ленью, кутежами и беспорядочным ухарством, с каким он читал лекции, когда являлся в аудиторию.

Два-три немца, профессора римского и уголовного права и зоологии, были предметами потешных рассказов, которые мы получили в наследство от старых студентов.

Нисколько не анекдот то, что Камбек, профессор римского права, коверкал русские слова, попадая на скандальные созвучия, а Фогель лекцию о неумышленных убийствах с смешотворным акцентом неизменно начинал такой тирадой: „Ешли кдо-то фистрэляет на бупличном месте з пулею и упьет трухаго“.

У медиков я бывал на разных лекциях, посещал и товарищей в клинике. Там все было построже – по учению, экзаменам и практическим работам. Очень любимый и требовательный преподаватель анатомии Аристов действительно владел мастерским описательным языком, и считалось как-то унизительным пропустить хоть одну его лекцию. В клинике местной славой окружен был хирург Елачич, читавший еще по-латыни. Но физиология была в жалком положении, без кабинета, опытов и вивисекций. Иностранец Берви, как рассказывали тогда сами медики, кровообращение объяснял на собственном носовом платке, а профессор терапии Линдгрэн был заведомый гомеопат.

Не хочу здесь повторяться. „В путь-дорогу“ во второй трети содержит достаточно штрихов, портретов и картин, взятых живьем, может быть в несколько обличительном тоне, но без умышленных преувеличений.

Моя жизнь вне университета проходила по материальной обстановке совсем не так, как у Телепнева. Мне пришлось сесть на содержание в тысячу рублей *ассигнациями*, как тогда еще считали наши старики, что составляло неполных триста рублей, – весьма скудная студенческая стипендия в настоящее время; да и тогда это было очень в обрез, хотя слушание лекций и стоило всего сорок рублей.

Со мной отпустили „человека“, чего я совсем не добивался, и он стоил целую треть моего содержания. Жили мы втроем в маленькой квартирке из двух комнат в знаменитой „Аккуринской казарме“, двор которой был очень похож по своей обстановке на тот, где проживали у М.Горького его супруги Орловы.

Переход был довольно-таки резкий из барского дома, где нас, правда, не приучали ни к какой роскоши, но где все-таки значилось до сорока человек дворни и до двадцати лошадей на конюшнях.

Но я не помню, чтобы такое житье на двадцать рублей в месяц вызывало во мне чувство недовольства, болезненно подавляло или питало нездоровый, тщеславный стыд.

Да и вообще в то время нигде, ни в каком университете, где я побывал – ни в Казани, ни в Дерпте, ни в Петербурге – не водилось почти того, что теперь стало неизбежной принадлежностью студенческого быта, *жизни на благотворительные сборы*. Нам и в голову не приходило, что мы потому только, что мы учимся, имеем как бы какое-то *право* требовать от общества материальной поддержки.

И в наше время было много бедняков. Казенных держали недурно, им жилось куда лучше доброй половины своекоштных, которые и тогда освобождались от платы, пользовались некоторыми стипендиями (например, сибиряки), получали от казны даровой обед и даже даровую баню. Но, повторяю, ни в обществе, ни в среде студентов не сложился еще взгляд, по которому одно только звание студента дает как бы привилегию на государственную или общественную поддержку. Мы должны были довольствоваться очень скудной едой. В Дерпте, два года спустя, она стала еще скуднее, и целую зиму мы с товарищем не могли тратить на обед больше четырех рублей на двоих в месяц, а мой „раб“ ел гораздо лучше нас.

И с таким-то скудным содержанием я в первую же зиму стал бывать в казанских гостиных. Мундир позволял играть роль молодого человека; на извозчика не из чего было много тратить, а танцевать в чистых замшевых перчатках стоило недорого, потому что они мылись. В лучшие дома тогдашнего чисто дворянского общества меня вводило семейство Г-н, где с умной девушкой, старшей дочерью, у меня установился довольно невинный флерт. Были и другие рекомендации из Нижнего.

Тогда Казань славилась тем, что в „общество“ не попадали даже и крупные чиновники, если их не считали „из того же круга“. Самые родовитые и богатые дома перероднились между собою, много принимали, давали балы и вечера. Танцевал я в первую зиму, конечно, больше, чем сидел за лекциями или серьезными книгами.

Такой светский искус я считаю положительно полезным. Он отвлекал от многих грязных увлечений студенчества. Юноша „полировался“, а это совсем не плохо. И тут женщины – замужние дамы и девицы – продолжали свое воспитательное влияние. Нетребовательность и сравнительная дешевизна позволяли бывать всюду, в самых богатых и блестящих домах, не делая долгов, не выходя из своего бюджета в тысячу рублей ассигнациями.

Жили в Казани и шумно и привольно, но по части высшей „интеллигенции“ было скудно. Даже в Нижнем нашлось несколько писателей за мои гимназические годы; а в тогдашнем казанском обществе я не помню ни одного *интересного* мужчины с литературным именем или с репутацией особенного ума, начитанности. Профессора в тамошнем свете появлялись очень редко, и едва ли не одного только И.К.Бабста встречал я в светских домах до перехода его в Москву.

Не помню, чтобы водился тогда в Казани хоть один профессиональный писатель, даже из маленьких. В Нижнем как-никак все-таки служил Авдеев; Мельников уже начинал свою карьеру беллетриста в „Москвитянине“. В Казани не было даже и местного поэта. По крайней мере в тогдашнем *монде* мне не приводилось встретить ни единого.

Этот *монд*, как я сказал выше, был почти исключительно дворянский. И чиновники, бывавшие в „обществе“, принадлежали к местному дворянству. Даже вице-губернатор был „не из общества“, и разные советники правления и палат. Зато одного из частных приставов, в тогдашней форме гоголевского городничего, *принимали* – и его, и жену, и дочь – потому что он был из дворян и помещик.

Губернатором все время при мне оставался И.А.Баратынский, брат поэта, женатый на Абамелек, той красавице, которой Пушкин написал прелестный мадригал: „Когда-то помню“ и т. д.

Тогда она уже повернула за роковой для красавицы предел сорокалетия, но все еще считалась красавицей, держала себя на своих приемах с большими „тонами“ и принимала „в перчатках“, о чем говорили в городе; даже ее кресло стояло в гостиной на некотором возвышении. Старушкой, лет через тридцать, она жила в Бадене, и я увидал в ней какую-то Наину из „Руслана и Людмилы“. Тогда она сделалась литературной дамой и переводила русские стихи по-английски; но губернаторшей никаких у себя вечеров с литературными чтениями и даже с музыкой в те годы не устраивала.

Литературу в казанском монде представляла собою одна только М.Ф.Ростовская (по казанскому произношению Растовская), сестра Львова, автора „Боже, царя храни“, и другого генерала, бывшего тогда в Казани начальником жандармского округа. Вся ее известность основывалась на каких-то повестушках, которыми никто из нас не интересовался. По положению она была только жена директора первой гимназии (где когда-то учился Державин); ее муж принадлежал к „обществу“, да и по братьям она была из петербургского света.

Она и начальница института Загоскина считались самыми блестящими собеседницами. Начальница принимала у себя всю светскую Казань, и ее гостиная по *тону* стояла почти на одном ранге с губернаторской.

У ней, у Ростовских, у Львовых и у Молоствовых любили музыку, и мой товарищ по нижегородской гимназии Милий Балакирев (на вторую зиму мы жили с ним в одной квартире) сразу пошел очень ходко в казанском обществе, получил уроки, много играл в гостиных и сделался до переезда своего в Петербург местным виртуозом и композитором.

Наши товарищеские отношения с Балакиревым закрепились именно здесь, в Казани. Не помню, почему он не поступил в студенты (на что имел право, так как кончил курс в нижего-

родском Александровском институте), а зачислился в вольные слушатели по математическому разряду. Он сначала довольно усердно посещал лекции, но дальше второго курса не пошел, отдавшись своему музыкальному призванию.

Балакирев остался истым нижегородцем, больше многих из нас, и Нижнему он обязан своей первоначальной музыкальной выучкой. Тот барин – биограф Моцарта, А.В.Улыбышев, о котором я говорил в первой главе, – оценил его дарование, и в его доме он, еще в Нижнем, попал в воздух настоящей музыкальности, слышал его воспоминания, оценки, участвовал годами во всем, что в этом доме исполнялось по камерной и симфонической музыке. Улыбышев как раз перед нашим поступлением в Казань писал свой критический этюд о Бетховене (где оценивал его, как безусловный поклонник Моцарта, то есть по-старинному), а для этого он прослушивал у себя на дому симфонии Бетховена, которые исполняли ему театральные музыканты.

Балакирев в Нижнем покончил уже свою выучку пианиста. Кроме москвича Дюбюка, его учителем был некий Эйзерих, застрявший в провинциальных пианистах. В Казани ему не у кого было учиться, и в Петербург он уехал готовым музыкантом и как виртуоз, и как начинающий композитор. Пианисты, какие наезжали в Казань – Сеймур Шифф и Антон Контский, – обходились с ним уже как с молодым коллегой. Контский заезжал и к нам, в нашу студенческую квартирку; но в ученики, как к виртуозу, Балакирев к нему не поступил. В своих первых композиторских попытках мой земляк был предоставлен самому себе. Систематически учиться теории музыки или истории ее было не у кого. Ни о каких высших курсах или консерваториях тогда и в столицах никто еще не думал, а тем менее в провинции.

Музицировали в казанском свете больше, чем в Нижнем; но все-таки там не нашлось ни одного такого музыкального дома, как дом Улыбышева. За Балакиревым всего больше ухаживали у начальницы института, у Молодцова (попечителя), Ростовских, Львовых. Меня он туда не возил. Общая наша светская гостиная была только у Загоскиной. Серьезного кружка любителей музыки с постоянными вечерами я тоже что-то не помню. Не думаю, чтобы значился там и такой хороший педагог, как нижегородский Эйзерих – учитель Балакирева. В университете состоял на службе немец Мунк. Под руководством его шли квартетные вечера, в которых и я участвовал – в первую зиму. Но к скрипке я стал охладевать, а к переезду в Дерпт и совсем ее оставил, видя, что виртуоза из меня не выйдет.

Но все-таки меня с Балакиревым связывал мой – хоть и чисто любительский – интерес к музыке. Он постоянно делился со мною своими вкусами, оценками и замыслами, какие начинали уже приходить ему. Помню и те две композиции, какие он написал в Казани: фантазию на мотивы из какой-то оперы (в тогдашнем модном стиле таких транскрипций) и опыт квартета, который он начал писать без всякого руководства. Не помню, чтобы у него были какие-нибудь учебники по теории музыки, оркестровке или гармонии. Русских учебников не существовало; а немецкий язык он знал недостаточно. Кажется, в Казани стал он выступать и в концертах. Но вообще хорошей музыки симфонического характера тогда и совсем нельзя было слышать в концертах. Наезжали знаменитости-виртуозы. Особую сенсацию, кроме Антона Контского, произвел его брат-скрипач, Аполлинарий. Мне потому особенно памятен его концерт, данный в городском театре, что я был оклеветан субом (по фамилии Ивановым) – якобы я производил шум; а дело сводилось к какому-то объяснению с казенными студентами, которых этот суб привел гурьбой в верхнюю галерею. Из-за этого обвинения инспектор посадил меня в карцер на целые сутки. Оправданий он не принимал против суба; а из казенных никто в пользу мою показаний не дал. Это случилось в первую зиму моего жития в Казани.

Театр играл довольно видную роль в жизни города: и студенчество, и средний класс (вплоть до богатых купцов-татар), и дворянское общество интересовались театром.

После нижегородской деревянной хоромы только что отстроенный казанский театр мог казаться даже роскошным. По фасаду он был красивее московского Малого и стоял на

просторной площадке, недалеко от нового же тогда дома Дворянского собрания. Если не ошибаюсь, он и теперь после пожара на том же месте.

Управлялся он городской дирекцией. Это отзывалось уже новыми порядками. Общий строй игры и постановки пьес для губернского города – совсем не плохие, никак не хуже (по тогдашнему времени), чем, например, частные театры Петербурга и Москвы и в конце XIX века, прикидывая их к уровню образцовых сцен, за исключением, конечно, Художественного театра.

Но я уже побывал в Москве, и то, что мне дал Малый театр, залегло в мои оценки, подняло мои требования. В труппе были такие силы, как Милославский, игравший в Нижнем не один сезон в те годы, когда я еще учился в гимназии, Виноградов (впоследствии петербургский актер), Владимирова, Дудкин (превратившийся в Петербурге в Озерова), Никитин; а в женском персонале: Таланова (наша Ханея), ее сестра Стрелкова (также из нашей нижегородской труппы), хорошенькая тогда Прокофьева, перешедшая потом в Александрийский театр вместе с Дудкиным.

Читатели романа „В путь-дорогу“ знают, что публика разделялась тогда на „стрелкистов“ и „прокофыстов“, особенно студенчество.

Эти театральные клички могли служить и оценкой того, что каждый из лагерей представлял собою и в аудиториях, в университетской жизни. Поклонники первой драматической актрисы Стрелковой набирались из более развитых студентов, принадлежали к демократам. Много было в них и казенных. А „прокофыстами“ считались франтики, которые и тогда водились, но в ограниченном числе. То же и в обществе, в зрителях партера и лож.

Мне как нижегородцу курьезно было найти в первой драматической актрисе – нашу „Сашеньку Стрелкову“, меньшую сестру „Ханеи“. Она росла за кулисами, вряд ли где-нибудь и чему-нибудь училась, кроме русской грамоты, и когда стала подрастать, то ее выпускали в дивертисменте танцевать качучу, а мы, гимназистами, всегда подтрунивали над ее толстыми ногами, бесцеремонно называя их (за глаза) „бревнами“.

И она в два-три года так выровнялась, что держала первое амплуа, при наружности скорее некрасивой, плотной фигуре и неэффектном росте.

А Прокофьева брала лицом, голосом, бойкостью; но настоящего таланта не имела и кончила в Петербурге на водевильном амплуа.

Милославский считался тогда провинциальной знаменитостью. Я его видал и у моего дяди – театрала. Его принимали в нижегородском обществе, что тогда считалось редкостью, принимали больше потому, что он был отставной гусар, из дворянской балтийской фамилии. В Казани, как и в Нижнем, Милославский играл все, и в комедии, и в мелодраме, и в трагедии, от роли городничего до Гамлета и Ляпунова. Он состоял и главным распорядителем казанской сцены; репертуар давал разнообразный, разумеется с преобладанием переводных драм, выступая в таких пьесах, как „Эсмеральда“, „Графиня Клара д'Обервиль“, „Она помешана“ и т. д. Тогда, как и теперь, провинция шла следом за столицами; что давалось в них, то повторяли и в губернских городах. Островский только что входил во вкусы публики, да всего одна его комедия и давалась к 1853 году: „Не в свои сани не садись“. За новинками гнались и тогда. И в Казани я уже видел пьесу, состряпанную на подвиге того плотника, который спас танцовщицу в пожаре Большого театра, взобравшись на крышу. И этого плотника, прикрашенного по-театральному, играл все тот же первый сюжет Милославский.

Он дебютировал и в Москве и оставался там некоторое время на первом драматическом амплуа.

С тех пор, то есть с зим 1853–1855 годов, я его больше не видал, и он кончил свою жизнь провинциальным антрепренером на юге.

„Николай Карлович“ (как его всегда звали в публике) был типичный продукт своего времени, талантливый дилетант, из тогдашних прожигателей жизни, с барским тоном и

замашками; но комедиант в полном смысле, самоуверенный, берущийся за все, прекрасный исполнитель светских ролей (его в „Кречинском“ ставили выше Самойлова и Шуйского), каратыгинской школы в трагедиях и мелодрамах, прибегавший к разным „штучкам“ в мимических эффектах, рассказчик и бонмотист (острослов), не пренебрегавший и куплетами в дивертисментах, вроде:

Один мушик, одна жонушка был...
Хорошенький, миленький – да!

Я бы его сравнил с В.В.Самойловым. И по судьбе, по тону, по разносторонней талантливости, и, кажется, во чисто актерским свойствам и характеру жизни, они – одного поля; только у Самойлова даровитость была выше сортом.

Сохранилась у меня в памяти и его дикция, с каким-то не совсем русским, но, несомненно, барским акцентом. В обществе он бойко говорил по-французски. В Нижнем его принимали; но в Казани – в тамошнем *монде*, на вечерах или дневных приемах, – я его ни в одном доме не встречал.

Жил он с своей подругой Э.К.Шмидгоф, с которой когда-то приехал и в Нижний. Эта красивая полунемка-полуполька пела в московской опере и полегоньку превращалась и в актрису, сохранив навсегда польско-немецкий акцент. При ней состояла целая большая семья: отец-музыкант, сестра-танцовщица (в которую масса студентов были влюблены) и братья – с малолетства музыканты и актеры; жена одного из них, наша нижегородская театральная „воспитанница“ Пиунова, сделалась провинциальной знаменитостью под именем „Пиуновой-Шмидгоф“.

Это музыкальное семейство поддерживало в казанском театре и некоторый вокальный элемент. Давали „Аскольдову могилу“ и одноактные комические оперы. Это началось еще с Нижнего, где для Эвелины поставили даже „Норму“.

Театральное любительство водилось и в казанском свете; но не больше, чем в Нижнем. Были талантливые дилетанты, например тогдашний университетский „синдик“ (член правления) Алферьев, хороший комик. Но я лично, выезжая в первую зиму, не находил ни в каких домах никакого особенного интереса к театру, к декламации, к чтению вслух, вообще к литературе. Увлекались только входившим тогда в моду столоверчением. Приезжие из Петербурга и Москвы рассказывали про Рашель, которую мне так и не привелось видеть ни в России, ни во Франции. Я попал за границу много лет спустя после ее смерти.

Но чего-нибудь литературного, лекций или сборищ в домах с чтением стихов или прозы, я положительно не припомню. Были публичные лекции в университете по механике (проф. Котельникова) и по другим предметам – и только. Да и вообще, в казанском светском, то есть дворянско-помещичьем, *монде* связь с университетом чувствовалась весьма мало. Этому нечего удивляться и теперь, судя по тому, что я находил в конце 90-х годов в таких университетских городах, как Харьков, Одесса и Киев. Барский, военный и чиновничий круг, населяющий в Киеве квартал Липки, весьма далек от университета и вообще интеллигенции, и в нем держится особый, сословно-бюрократический дух, скорее враждебный просветительным и передовым идеям, чем наоборот.

Наперечет были в тогдашней Казани помещики, которые водились с профессорами и сохранили некоторое дилетантство по части науки, почитывали книжки или заводили порядочные библиотеки.

Зато можно сказать про тогдашнюю Казань, что она оставалась свободной от военщины. Не стояло даже ни одного полка, ни пехотного, ни кавалерийского, тогда как теперь чуть не целая дивизия. Весь военный элемент сводился к гарнизону, к крепостному управлению, жандармерии, к персоналу адъютантов, из которых двое – один молодой, другой уже в майорском

чине – сделались „притчей во языцех“ своей франтоватостью. Студенты постоянно издевались над ними, разумеется за глаза, и про одного, майора, рассказывали, что он ходит с *муфтой*.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.